

Уктам Хакимали

МАЛЕНЬКИЙ ДВОР

Перевод С. Тарбеевой и М. Мирзаевой

*Поэту Эркину Вахидову
посвящается*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕРВОЕ СТРАДАНИЕ

— Анвар, сынок, кирмач готов!

Мамин голос заставляет меня откинуть одеяло и поспешить к хонтахте¹. Раннее утро, но на дастархане уже лежат свежие лепешки, которые мама подает к горячему молоку. Я обожаю не само молоко, а кирмач — чуть пригоревшие остатки молока на дне котла. Мама знает это и делает кирмач специально для меня.

Горячие лепешки, которые можно нюхать как цветы, так они ароматны, горячий кирмач — завтрак в маленьком дворике, где растет таинственное и священное дерево-яблоня. Даже тогда, когда я занят столь важным и приятным занятием, как поглощение любимого блюда, я не отрываю взгляд от яблони. Она словно притягивает меня, завораживает.

— Ты родился, сынок, в пору... плодоношения яблони,— часто говорила мне мама.— Если бы ты знал, сколько на ней было яблок! Это хороший знак. Судьба твоя будет счастливой.

Я был слишком мал, чтобы понять, что такое пора плодоношения и что такое судьба, я лишь чувствовал, что невидимые нити связывают нас с яблоней. Родился. Что это значит? И почему тогда, когда я родился, было много яблок? Какая-то тайна была в этом, и часто, разглядывая дерево, единственное в маленьком дворике, я пытался понять, что же общего у нас с этой яблоней. Может, душа, о которой тоже часто говорит мама? А еще мама говорила, что яблоня постарела. Я часто подходил к ней и, трогая пальцами пораненную временем кожу, разглядывал сухие ветви, обламывал сухие сучья и больше всего на свете хотел, чтобы яблоня помолодела.

¹ Х о н т а х т а — низенький столик.

Но вот как-то отец привел во двор двух крепких джигитов и вручил им по топору. Я не мог понять, что происходит, не верил своим глазам — джигиты принялись рубить яблоню.

— Мама! Мамочка!

И взрослые объяснили: дерево старое, яблоки больше на нем не созревают — зачем оно теперь?! И спокойно смотрели, как рубят яблоню, — и сестры, и мама. Но ведь мама сама говорила, что я родился, когда... А как же душа? Моя и яблони?! Джигиты рубили дерево, а мне казалось, что топоры их вонзаются не только в ее тело, но и в мое

ВОЛК

Дом наш стоял в углу двора. Дахлиз¹ отделял большую комнату от маленьких. К комнатам примыкал айван, на карнизе которого летом и зимой ворковали горлинки. В противоположном углу двора была небольшая пристройка, очиг, где мы держали козу. В глинобитном дувале, окружавшем двор, имелась двусторчатая калитка, дверцы которой украшали резные узоры. Эта резная калитка выходила на улицу, а вернее, на пыльную дорогу, соединявшую колхозные поля с конторой и делившую кишлак на двое.

Мы до холодов спали на айване, а когда выпадал снег, перебирались в комнаты. Вообще наша жизнь в основном проходила на айване и во дворе, ведь у нас было тепло семь-восемь месяцев в году. Во дворе готовилась и пища. Лепешку и самсу пекли в тандыре², шурпа, лагман, а если выпадала радость — и плов готовились на самодельном очаге. Но все это было в лучшие времена. Теперь же двор наш и дом были не в лучшем виде. Дувал осыпался, кое-где обвалился, напоминая горбы верблюда. Балки и брусья в доме были закопченными, потемневшими, разбитые стекла на окне заклеены бумагой, пожелтевшей, засиженной мухами, три-четыре черных овчины вокруг сандала³ никогда не убирались. В одной из ниш стояла нехитрая посуда — большая каса, пиалы, фарфоровые блюда, жестяные подносы, в другой — контилка с помятым бо-

¹ Да х л и з — узкий коридор.

² Т а н д ы р — печь для выпечки лепешек, самсы.

³ С а н д а л — низенький столик, накрытый стеганым одеялом, под который насыпают жар.

ком. Вот в этом более чем скромном доме и тесном дворе жили мы с мамой — три сестры, братишка Эркин, племянник Камал. Отец и зять Зиятбай были на фронте. Они уехали поздно вечером, когда мы, младшие, уже спали, нас не стали будить, и я не помнил, какими они ушли. Всякий раз, когда я силился представить отца, мне рисовался образ большого, сильного человека. Долгими вечерами мама часто рассказывала нам об отце, затем эти рассказы повторяли с удовольствием старшие сестры.

Отец вырос в сиротстве, в трудные годы ушел из кишлака, после революции учился грамоте в Самарканде в «большой школе», вернувшись в кишлак, сам учил детей, впоследствии был награжден орденом «Знак Почета». Этот орден часто извлекался из сундука, освобождался из чистой белой тряпочки и сиял на маминной ладони перед нашими восторженными глазами.

Мама с моими старшими сестрами Магрифой и Саифой спозаранку уходили в поле жать пшеницу, возвращались поздно, неся мешки колосьев на голове. Я оставался дома с младшей сестрой Мазифой, с Эркином и Камалом. В ту пору я часто слышал разговоры о том, что «скоро кончится война», значит, это был уже далеко не первый год войны, и мне было лет шесть, Камалу года три, наверно, и Мазифе — восемь. Эркин же мне запомнился совсем малышом. Как только за старшими закрывалась калитка, Мазифа принималась хозяйничать. Она подметала двор, кипятила чай, затем будила нас и кормила нехитрым завтраком — чаем с кукурузной лепешкой.

Иногда она сажала Эркина на закорки, брала нас с Камалом за руки и вела к соседям, где, как и у нас, был полон двор ребятешек. Заигравшись, мы забывали и о оде, и о доме и возвращались уже с наступлением сумерек. Мазифа, поделив поровну последнюю кукурузную лепешку, вновь поила младшеньких чаем и укладывала спать. Мы, уставшие за день, быстро сникнув, покорно укладывались. Но иногда вдруг на нас находил массовый каприз — мы ни за что не хотели ложиться до тех пор, пока не вернутся мама и сестры.

Тот вечер был именно таким. Я и Камал носились то по темному двору, то по айвану, и Мазифа никак не могла нас унять. Наконец мы устали, но спать все равно не собирались. А мамы все не было и не было. Осенью в поле самый разгар работ, и колхозники часто возвращались, ко-

гда уже светила луна. Было поздно, кишлак затих, затихли и мы, приткнувшись друг к другу.

Эркин с Камалом лежали, положив руки-ноги друг на дружку, а я долго устраивал голову на коленях Мазифы и наконец, найдя удобную позу, свернулся калачиком, закрыл глаза. Я помнил, что во что бы то ни стало решил дождаться маму, несколько раз еще делал попытку открыть глаза, но веки были тяжелыми, непослушными, и вскоре я уже не сопротивлялся теплой, ласковой дреме.

Но вдруг почудилось мне, что еду я по ухабистой дороге на тряской арбе. Меня так и подбрасывало, так и подбрасывало. Ничего не понимая, ошалевший, я открыл глаза и увидел в свете керосиновой лампы испуганные глаза Мазифы — что есть силы она трясла меня за плечо. Я секунду-другую тупо смотрел на нее, а затем голова моя тяжело упала на овчину. Но тряска продолжалась, от нее не было спасения, и злой, недовольный я оторвался от мягкой шкуры и вопросительно уставился на сестру.

Она вела себя странно: руки ее трясли мое плечо, а взгляд был обращен во двор, в сторону дувала. Наконец она быстро повернула ко мне голову и прижала палец к губам, как бы говоря: тише, не закричи. И вновь устремила глаза, полные страха, к дувалу.

Я протер глаза и уставился туда же, еще ничего не понимая, но уже проникаясь чувством тревоги и тоски. Луна стояла уже довольно высоко, и при ее ясном свете я разглядел наконец собаку в той части дувала, где вывалилось несколько саманных кирпичей.

Собака? Но откуда она в нашем дворе? После того как ушел на фронт отец, исчез наш пес Сиртлон. А вдруг он вернулся? Но нет, у Сиртлона были подрезаны уши, да и вообще у всех собак нашего кишлака уши были подрезаны. И тут меня пронзила страшная догадка: да это же волк! В последнее время они повадились рыскать возле селения, но вот так нагло не появлялись еще ни в одном дворе.

Мне хотелось завопить, закричать от ужаса, но рядом сидела сестра и все так же держала палец у рта: молчи, во что бы то ни стало молчи, говорил весь ее вид, она, видно, боялась обнаружить себя перед этим грозным зверем. А у меня к чувству страха и ужаса примешивалось и странное чувство любопытства: так вот он какой — волк! Сколько сказок мы слышали о нем, сколько рассказов очевидцев — и вот он, живой.

А волк все так же сидел в напряженной позе и словно бы вопрошал: а верная ли она, тишина, и не скрыта ли там, на айване, для него опасность? Он переводил свои горящие, точно уголья в тандыре, глаза с айвана, где замерли в немом страхе мы с Мазифой, на хлев, откуда доносилось тревожное посапывание нашей единственной козы, животины с белой отметиной и сломанным рогом. Но вот коза от сопенья перешла к жалобному бляню, и было непонятно, то ли это она нас предупреждает о присутствии своего извечного врага — волка, то ли, напротив, просит человеческой защиты, ведь рядом с ней находился ее детеныш — козленок-сосунок.

Меж тем волк, видно, принял решение. В два прыжка очутился он в хлеву, коза истошно заголосила и тут же смолкла. Затем последовал волчий рык и бешеная возня. И тут Мазифа, так страстно призывавшая меня к молчанию, не выдержала и завопила от бессилия — она-то знала, что значит для нашей семьи коза с ее вкусным, целебным молоком! Сестра даже руками от горя замахала. Фитиль лампы, что стояла возле люльки, замигал, заколебался, казалось, он вот-вот погаснет, и прыгающие по стенам тени усиливали атмосферу страха и безысходности.

Но крик сестры, разбудивший малышей, словно бы привел в чувство меня. Нет, это, конечно, не был поступок храбрости, скорее всего мной двигало отчаяние, но внезапно страх отпустил меня, и душу затопили гнев и ненависть. Я стремительно вскочил, схватил старую калошу, одну из тех, в которых сестра поливала двор, подскочил к двери айвана и запустил ее в сторону хлева.

— Убирайся, а не то убью! — заорал я что есть силы.

И странно, отчаяние мое ободрило сестру, она схватила кочергу, которой мы мешали угли в тандыре, и изо всей силы швырнула её. Кочерга с грохотом ударилась о доски, в хлеву на секунду все стихло, но уже в следующее мгновение волка словно волной вынесло во двор.

— Убирайся, бешеный! — Мазифа кричала, а сама была готова в любую минуту отскочить назад, на айван.— Ух, чтоб тебе пасть разорвало!

Мама, оставляя нас одних и прослышав, что вокруг кишлака «шалют» волки, бессильная чем-либо реально помочь нам, наивно и трогательно поучала нас — увидите волка, верблюжата мои, тут же кричите: «Чтоб тебе пасть разорвало». Но напрасно выкрикивали мы наперебой это простодушное заклинание — зверя и след протыл.

И когда мы осознали наконец это, осознали, что опасность миновала, мы в голос с сестрой заплакали, запричитали:

— Мама! Мамочка!

И нам вторили малыши, которые так ничего и не поняли, а Мазифа только и могла что прижать их к себе.

В этот момент постучали в калитку.

— Мама! Мамочка!

Мы бросились к калитке, но вместо того, чтобы откнуть щеколду, стали бешено колотить по ней кулаками и выкрикивать:

— Мама, волк!

— Мамочка, спаси нас!

Мать и сестры, видимо, сообразив, что толку от перепуганных детей никакого, надавили дружно на калитку, калитка слетела с петель, и они рухнули во двор вместе с ней. Тут же мгновенно мама вскочила и, пытаясь обнять нас всех разом, закричала, причитая:

— Деточки мои, маленькие мои, что же, что случилось?!

— Волк забрался в хлев,— Мазифа дрожащей рукой указала на хлев.

Мама охнула, выпустила нас из объятий и в недобром предчувствии бросилась к своей животине.

— Ой, детоньки, беда случилась! — раздался наконец голос из хлева.— Волк, чтоб земля его проглотила, козу нашу, нашу кормилицу зарезал.— И она заголосила.

Мы с Мазифой, забыв о том, что сами только что чуть не оказались на месте этой козы, стояли, низко опустив голову, чувствуя себя виновными в том, что лишили семью кормилицы. Мама не простит нам этого, думал я, и все ждал, что вот-вот мама ударит меня по щеке. Но вместо этого мама сказала:

— Слава богу, вы живы-здоровы, мои верблюжата.— И она вновь прижала нас к груди. Распорядилась:— Саифа, принеси дастархан. Бедная коза, никак не отмучается.

Саифа принесла дастархан, сшитый из лоскутков, и мама отправилась в хлев. Мы побрели вслед за нею и увидели, как, скрутив дастархан, она перевязала кровоточащую рану на шее козы. Коза лежала посреди хлева, а в горле у нее что-то булькало, маленький же козленок-несмышлениш пытался отыскать ее теплое вымя.

Все вернулись на айван и принялись бурно обсуждать случившееся. То плакали, то успокаивали друг друга.

И вдруг мама гневно сказала:

— А все война проклятая! Мужчин-то, охотников, совсем нет в кишлаке, вот звери и обнаглели. Еще немного, и волк загрыз бы детей. Завтра схожу в контору, пусть помогут поправить дувал.

Мы, младшие, до конца еще не могли понять, что это такое — война, но ненавидели ее всеми силами души. Она увела неизвестно куда нашего отца, она заставила работать наравне со старшими наших сестреноч, от нее одни несчастья! И мы повторяли вслед за мамой — будь она проклята!

А мама вдруг всполошилась.

— Ой, совсем ума лишилась! — воскликнула она. — Как бы коза не сдохла. Надо скорее позвать дядю Артыкбая, пусть прирежет, хоть мясо у нас будет.

Мама, по лестнице забравшись на крышу хлева, заглянула в соседний двор.

— Артыкбай-ака, э, Артыкбай-ака, зайдите к нам! Прошу вас!

— Что кричишь? — слышался за стеной недовольный сонный голос. — Война, что ли, кончилась?! Удивляюсь людям! И ночью не дают покоя.

— Да возблагодарит вас бог, — начала умолять его мама. — Волк побывал в нашем дворе. Коза бьется в судорогах, зарежьте ее. Пожалейте моих детей.

— Разве может напасть волк, если люди в селе еще не спят? — снова проворчал Артыкбай-вор — таково было прозвище этого человека.

Кое-как уломав соседа, мама спустилась с крыши. А вскоре явился и сам Артыкбай-вор, закутанный в заплатанный чапан, волочившийся по земле. Прошел прямо в хлев, толкнул ногой козу. Коза не шелохнулась.

— Сдохла, — сказал Артыкбай-вор, подбоченившись. — Раньше надо было звать.

— Сдохла?! — Глаза у мамы стали совсем круглыми, она принялась что есть сил трясти околевшее животное. — Артыкбай-ака, посмотрите хорошенько, может, жива еще. Ну почему должна сдохнуть наша единственная коза!

— Смерть разве разбирает — единственная или не единственная? — прохрипел Артыкбай-вор.

— Вот беда-то, околела скотинушка! — запричитала мама. — Породистая была коза, молока давала столько, сколько корова. А красивая, стройная была! Будь ты проклят, волк! Ты отнял пищу вот у этих черноглазых.

— А зачем ты ей шею скатертью обвязала? — спросил Артыкбай-вор, почесывая переносицу.

— Хотела кровь остановить, — ответила мама. — Кормилицу нашу спасти.

— Ладно, не плачь, — уже не так ворчливо произнес Артыкбай-вор, — пусть она станет жертвой за детей твоих.

Как только сосед ушел, сестры снова заголосили, а мама не плакала, она только горестно покачивала головой.

Мне было ужасно жаль маму, всю нашу семью и погибшую козу, и я, погрозив в сторону дувала кулаком, сказал:

— Если волк еще придет в наш двор, я засуну ему в пасть палку. Он тут же сдохнет.

Сестры сначала затихли, а потом засмеялись. Улыбнулась и мама.

— Милый мой сыночек, совсем уже взрослым стал. — Она прижала меня к груди.

— На тебя и рассчитываем. — Саифа, сжав мне уши, поцеловала в лоб.

В эту ночь семья наша долго не могла заснуть. В слезах облегчившие душу сестры, сразу осунувшаяся с горя мама и я, переживший минуты страха и счастливый от того, что поборол его в себе. Последнее, что я запомнил, прежде чем дрема вновь унесла меня в страну снов, было мамино восклицание:

— Хорошо, что вы, мои маленькие, остались живы. О козе не стоит горевать. Пусть станет жертвой за вас тысяча коз.

Утром мама, сестры Магрифа и Саифа ушли в колхозную контору, но скоро вернулись. Следом за ними шли председатель Сали, табельщик Касым-тихий и Артыкбай-ака. Мама повела пришедших в хлев, приговаривая:

— Вот посмотрите, что натворил волк, еще немного, и детей бы моих загрыз. Скорее почините дувал как следует. Нехорошо будет, если об этом узнает муж. Все-таки он был в свое время в Москве, получил орден из рук такого человека, как Калинин, да и в районе начальство уважает его.

— Не расстраивайтесь, — начал утешать маму Сали, — сегодня же пришлю людей. Починят вам дувал.

И действительно, пришел человек, починил нам дувал.

А мы все не знали, что же делать с козой. Она все еще лежала в хлеву, мама и сестры по очереди толкали ее, и

мне каждый раз казалось, они ждали, что коза неожиданно поднимет голову и заблеет: дескать, вот я, жива! «Волчьи зубы не задели меня! Я пошутила! Притворившись мертвой, хотела лишь узнать, будете ли вы меня оплакивать или нет». Коза раздулась, возле туши стали роняться мухи, и сестры волей-неволей потащили ее со двора и за кншлаком закопали.

Я УЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ ТРАГЕДИЯ

Напротив нашего дома, на другой стороне большака, жила семья дяди Ниязмата, ушедшего, как и мой отец, на фронт. Жена его, тетушка Махи, вместе с нашей мамой ходила на полевые работы, а дочь Анар, сыновья Шермат и Абдували оставались, как и мы, дома. Анар и Мазифа были ровесницами и часто устраивали шумные игры и представления, в которые вовлекали и нас. Особенно весело нам было тогда, когда мы собирались во дворе Ниязмата-ака, ведь через двор этот протекал хоть и мелкий, но довольно бурный арык. А что может быть радостнее и приятнее в полдневный зной, как окунуться в прохладные, ласковые воды, а потом обдать радужными брызгами своих визжащих сестер?! Шермата, Абдували и меня невозможно было вытащить из этого арычка, и если мы и сдавались на крики Анар и Мазифы, только потому, что и сами чувствовали — все, больше не выдержим, окоченеем. И синие, дрожащие — зуб не попадает на зуб, — выбирались на осклизлый берег и принимались лепить из глины разные фигурки.

Вот возле этого веселого, неугомонного арычка я и узнал впервые в жизни, что такое настоящее человеческое горе, я узнал, что такое трагическая случайность.

В один из жарких осенних дней — сентябрь тогда был в самом разгаре — мы, как всегда, дружно и весело играли в соседском дворе. Солнце уже клонилось к горизонту, когда Мазифа наконец объявила, что пора собираться домой. Мы, младшие, долго еще бегали по двору и никак не хотели расставаться. Мазифа, которая уже взяла на руки Эркина, нетерпеливо подгоняла нас — ей нужно было еще приготовить ужин. Но ни я, ни братья Шермат и Абдували словно не замечали этого нетерпеливого ожидания — с воплями и смехом провожали мы вечернее солнце, последние лучи которого касались вод арыка и вершин тополей. И тогда терпению Мазифы пришел конец, с Эрки-

ном на руках она бросилась за мной, явно намереваясь схватить меня за ухо. Я, увертываясь, побежал по берегу арыка, Мазифа — за мной! И вдруг... она поскользнулась и, подмятая под себя младшего нашего брата, рухнула в арык. Арык был неглубоким, Мазифа тут же вскочила на ноги и схватила барахтающегося и захлебывающегося Эркина.

Мы мгновенно затихли и, ошарашенные, стояли посреди двора, позабыв о ласковых водах арыка и прощальных лучах солнца. Нам стало неуютно и боязно — это ведь из-за нашей шалости Мазифа и Эркин пострадали. Брат пронзительно кричал и мотал головой, а мокрая и растерянная Мазифа пыталась его успокоить. Она обмыла его испачканное в грязи лицо — Эркин ударился о берег арыка — и принялась покрывать его поцелуями. Она гладила малыша по головке, качала на руках, но Эркин продолжал заходиться в плаче. Мы не знали, чем помочь сестре, которая и сама от страха уже плакала так же громко, как и Эркин. Мазифа пробовала его опустить на землю, но братик наш тут же падал — он не мог стоять. Вновь подхватила Мазифа его на руки и поспешила домой, я и Камал побежали вслед за нею — нам казалось, что там, дома, Эркину станет легче.

Чуть ли не бегом спешила Мазифа к люльке, подвешенной на айване, — сколько раз выручала ее эта люлька, успокаивала капризничающего брата.

Отталкивая друг друга, мы с Камалом помогали Мазифе укладывать Эркина в люльку. Но напрасны были наши надежды — брат не замолчал, он уже весь посинел от крика.

На лице нашей сестры Мазифы мы читали отчаяние, она не знала, что делать, как утишить боль маленького Эркина.

Мама еще на подходе к дому поняла, что с детьми ее что-то случилось, торопливо толкнула она калитку, вбежала на айван и увидела, как плачущая Мазифа что есть силы раскачивает люльку. В люльке задыхался от плача Эркин.

Мама взяла его на руки, ощупала всего — не расшибся ли, не сломал ли себе чего, затем прижала ласково к груди и стала ласково успокаивать.

— Верблюжонок мой, душа моя, — шептала нежно мама, — успокойся, маленький, я больше не оставлю тебя одного.

Вскоре Эркин затих, мы подумали, что он уснул, и только потом догадались — он потерял сознание.

— Мазифа,— спросила мама дрожащим голосом,— что случилось? Эркин никогда так не плакал!

Мазифа молча и испуганно смотрела на маму, она боялась сказать правду — ведь ее оставляли за старшую, на нее надеялись, а она не уберегла брата. И за это надо отвечать.

— Анвар, что случилось с братиком? — обернулась ко мне мама.

— Мази,— пробормотал я и умолк. Я не знал, что сказать — правду, но тогда не только Мазифе, но и всем нам попадет. А врать... врать нас мама не приучила.

— Да говори же,— мама явно нервничала, и я решил за лучшее сказать правду.

— Мазифа упала с ним в арык, Эркин ударился об обег.

— Ох, негодница,— накинулась мама на Мазифу,— так-то помнишь ты мои наказания! Для чего я тебя оставляю? Чтобы ты за малышами следила, а ты...

Мазифа заревела в голос, к ней присоединились и мы с Камалом, так как и наша совесть была нечиста. Тут уже растерялась мама, она не знала — ругать ли нас за беспечность или успокаивать своих несмышленных детей, не ведающих еще пока, что они творят. И мама стала гладить нас по голове и ласково трепать по плечу.

Мы успокоились, и стало слышно, как хрипит и тяжело дышит наш братик. Мама достала банку с салом, села возле люльки и принялась смазывать тело брата. Но это мало ему помогло. И тогда мама отправилась разыскивать медсестру Нафису, приехавшую недавно из города. Но, как на грех, Нафиса отправилась к чабанам на летовку, ее не было в кишлаке. И тогда мама вынула Эркина из люльки и понесла к лекарю Аладдину. Лекарь Аладдин долго осматривал нашего брата, вздыхал, причмокивал дряблыми губами и наконец заключил, что у Эркина сильное сотрясение мозга. Дал каких-то травок, мазь, но глаза его при этом говорили о том, что надежды мало.

— Нет, нет, мой мальчик, мой верблюжонок,— шептала мама, когда мы все поздней ночью возвращались от табиба¹, — ты не умрешь, я не позволю.

¹ Табиб — лекарь.

Нам жутко становилось от этого шепота, от этого страшного слова — умрешь.

Мы чувствовали, что на нас надвигается что-то мрачное, неодолимое, то, что взрослые люди называли бедой.

Дома Эркина положили не в люльку, а на курпачи, так маме удобнее было ухаживать за ним.

Как ни переволновались мы, дети, но усталость взяла свое, мы уснули, и последнее, что я видел, прежде чем веки мои окончательно сомкнулись, — бледная, с горящими, сухими глазами, мама страстно шептала что-то, изредка проводя ладонями по лицу. Я понял, что она просит у неба, чтобы оно сжалилось над ее маленьким сыном.

А когда утром мы поднялись, то увидели, что мама так всю ночь и просидела возле Эркина, которого мы с трудом узнавали. Еще вчера днем мальчишка был радостен и улыбочив, он охотно и доверчиво принимал участие во всех наших играх. А сегодня перед нами лежал словно бы маленький старичок — лицо его сморщилось и посинело, ножки стали какими-то тонкими и скрюченными.

Мама вскипятила нам чай, разломала лепешки, мы ели молча, боясь произнести хоть слово, боясь, что она уйдет на работу и оставит нас одних с так изменившимся нашим братом.

Но мама на работу не пошла, а послала старшую сестру в контору сказать, что в нашем доме несчастье.

Вскоре сестра вернулась, а с нею пришла и тетушка Ибо.

Тетушка Ибо осмотрела Эркина, положила ладонь на его лоб, подержала ее так с минуту-другую, а затем зашептала что-то маме на ухо.

— Нет, нет, — мама в ужасе замахала руками. — Не может этого быть... не может.

— Так всегда бывает, — сказала уже громче тетушка Ибо. — Ты не пугайся, а дети пусть уйдут.

И тут мама так громко и горько зарыдала, что и у нас сами собой потекли слезы.

— А ну-ка, — повернулась тетушка Ибо ко мне и моим сестрам, — идите в комнату.

Но мы точно приросли к месту, никакая сила не могла нас заставить уйти, когда маму душат рыданья.

— Что же делать, что же мне делать? — неизвестно кого спрашивала мама, качая головой.

— Смирись, дорогая, — ласково говорила старшая Ибо. — Бог дал, бог и забирает...

— Не может бог так поступить, если он есть,— вдруг гневно сказала мама.— Ни в чем не повинен мой сын! Если бы не эта проклятая война, ни за что бы детей своих не оставляла без присмотра!

— Когда много людей, больному трудно умирать,— сказала тетушка Ибо, вновь положив руку на лоб Эркина.

Мы онемели. Наконец-то до нашего сознания стало доходить, что на наших глазах умирает маленький Эркин.

— Сыночек мой! — заголосила с надрывом мама.— Промелькнул ты маленьким лучиком. А отцу твоему не суждено оказалось увидеть тебя.

Эркин, словно откликаясь на мамин голос, попытался приоткрыть глаза, но это ему оказалось не под силу.

— Бедный ребенок, никак не может покинуть тебя,— прошептала тетушка Ибо,— благослови его на иную жизнь. Пусть не мучается. Молоком своим ты вскормила его. Материнское благословенне — это божеское благословенне.

Мама отпрянула от тетушки Ибо и с ужасом уставилась на нее, она знала: благословить по стариковскому поверью своего сына на иную жизнь — значит смириться с его смертью, с уходом из этой, реальной жизни.

— Нет, нет,— зашептала мама в отчаянье.— Я хочу, чтобы Эркин, мой мальчик, жил!

— Давай-ка скорее, не мучай бедного ребенка,— ворчала тетушка Ибо.— Видишь, как тяжело ему умирать.

Мама, как безумная, заметалась по айвану. Невыносимые муки доставляло ей страданье ее маленького сына.

— Благословляю тебя,— разрыдалась наконец она,— тысячу раз благословляю тебя, дитя, за то, что вскормила своим молоком...

— Ой, боже мой, да уведи же ты детей в комнату,— всполошилась тетушка Ибо, когда ее взгляд снова упал на нас.

Мама с трудом вытолкнула всех по очереди в комнату, но пробыли мы там недолго.

Жуткий вопль огласил двор, и мы, толкаясь, сминная друг друга, кинулись на айван. Там, на курпаче, мы увидели странно вытянутое тельце нашего брата. Тетушка Ибо подвязала ему белым платком подбородок, затем белыми тряпочками завязала большие пальцы на ногах. И тут же, опустившись на корточки, принялась что-то вполголоса монотонно бормотать.

Я стоял молча среди плачущих сестер и думал: для чего это старшие подвязали Эркину подбородок и ноги?

Что же он будет делать, если захочет встать? И как он станет разговаривать? Ведь он же не сможет раскрыть рот! Но тут я вспомнил, как однажды мы проходили мимо мазара и я спросил у мамы, что это за странные домики такие и почему здесь так тихо и пустынно. Мама провела тогда ладонями по лицу и тихо сказала: мазар — это город мертвых. Когда человек умирает, его хоронят в родной земле и у него начинается другая жизнь. «А что значит — умирает?» — не отставал я со своими расспросами. Слово это тогда мне ни о чем еще не говорило.

А вот теперь я видел, как человек умирает, понял, что значит умирает — лежит неподвижно, не говорит, не смеется. Его отнесут туда, в город мертвых, на могиле его прорастет трава. Отныне мать-земля (так говорили взрослые) станет его домом. Он уходит от нас, от мамы, он идет к матери-земле, она зовет его в свои объятия. Да, но ведь мама говорила, что человек умирает только от старости, так в том году, например, умер старенький белобородый Ташмат-ата, и было ему, кажется, тысячу лет. А Эркин-то ведь еще совсем маленький мальчик. И тут в моем сознании всплыли горькие слова мамы: если бы не эта проклятая война, разве оставила бы своих детишек без присмотра, разве позволила бы несчастью прийти в наш дом! И я всей душой возненавидел войну, уведшую из дома отца, нашего кормильца, а теперь вот по ее вине мы лишились и Эркина.

— Ариф, не отходи от покойника, чтобы кошка не перепрыгнула через него, — уходя, наказывала тетушка Ибо. — А то Эркину будет... там... неудобно.

Перед восходом солнца во двор стали приходиться люди. Первыми появились Артыкбай-вор и Хаджи-ака, присели возле Эркина, который лежал во дворе на супе, пошентали что-то загадочно, как и тетушка Ибо, а потом занесли брата в дом, как нам объяснили, для того, чтобы обмыть тело покойного. Это слово — «покойного» мне очень не нравилось. Особенно оно показалось мне странным и ненужным после того, как Эркина вынесли умытого и запеленутого в белую простыню — в саван, опять же по выражению взрослых. Следы муки и страдания сошли с лица Эркина, и оно вновь было гладким, и мне казалось, что малыш даже вот-вот улыбнется, обнажив свои белые зубки.

Наверное, и мама тоже никак не могла примириться с

этим словом — «покойник». Она бросилась к чисто умытому своему сыну с криком:

— Птенчик мой, радость моя, как ты красив!

И стала осыпать поцелуями лицо нашего брата.

Сестры, глядя на маму, тоже бросились к белому свертку.

— Эркинджан! Брат наш!

Они рвали на себе волосы, косы их расплелись и волосы перепутались.

— Ну хватит, перестаньте, — Хаджи-ака оттащил сестер прочь.

Но ни мама, ни сестры, одетые в синие сатиновые траурные, одежды, не переставали причитать, рвать на себе волосы и раздирать лицо ногтями. Им вторили женщины, набившиеся к нам во двор. Но ведь и я любил его не меньше этих чужих женщин, и я не хотел, чтобы брата моего закапывали глубоко в землю. И я что есть силы принялся кричать:

— Отдайте моего братика, не забирайте его! — и цеплялся за ноги мужчин. Но никто не слышал меня, каждый был занят каким-нибудь делом или собственным плачем, и я, устав от слез и криков, забрел на айван, обессиленный, прилег на курпачу и уже сквозь какую-то обволакивающую сознание пелену слышал, как мужчины выносили со двора табу¹ под плач и причитания женщин.

Так ушел из жизни малыш, наш брат, оставив в сердцах наших первый рубец боли.

Мама каждый день вспоминала его, она собирала нас по вечерам вокруг себя и тихо и нежно говорила:

— Мальчик мой был чист и невинен. Он станет в той, другой жизни, вольной птицей, и птица эта будет петь в райских куцах.

Лежа возле мамы, ощущая ее теплую нежную руку на своей голове, я представлял себе райские кущи, прекрасную птицу, и мне хотелось для этой птицы, а вернее, для моего братика Эркина слепить из глины собачку, зайчика, они мне больше всего удавались.

Вольная птица! Наверное, крылья вольной птицы похожи на крылья ласточек, что вьют гнезда у нас под стрехой айвана. Вольная птица, подобно ласточке, будет летать высоко в голубом небе, а устав, наконец опустится

¹ Табу — похоронные носилки.

к нам во двор и с щебетом будет раскачиваться на веревке, на которой мама сушит белье.

«Ну как, легко леталось тебе?» — спрошу я вольную птицу.

А птица ударит вдруг своими изящными крыльями и превратится в малыша Эркина.

«Ура-а, ура-а!» — закричим мы все, и я, и мои сестры, и примемся весело носиться по двору.

А когда мы вдоволь наиграемся, наш Эркин вновь обернется вольной птицей и улетит в райские кущи.

Каждый день ждал я, когда прилетит эта райская птица, но все было напрасно. Как же так, размышлял я, ведь старая Ибо говорила, что бог очень добр и что особенно хорошо там, в раю, бывает маленьким детям. Отчего же этот самый бог не отпускает на землю нашего Эркина поиграть с братьями и сестрами, порадовать маму.

И в душу ко мне закрадывалось сомнение, а такой ли уж он добрый, этот неизвестный бог старой тетушки Ибо. Так впервые детской своей душой я пытался осознать основные категории мира — жизнь и смерть. Это было первое прикосновение души к тайнам бытия.

Глиняных собачку и зайчика, которыми играл Эркин, мама поставила в нишу. Мы не смели к ним прикасаться. Они стали в доме святыми — ибо это была память.

ПОСЫЛКА

Листопад и унылое карканье ворон принесли осень. За домом у нас был небольшой лужок, и однажды я очень удивился — весь он был усеян черными, важно вышагивающими птицами. Я бросил с размаха в них палку — и в небо поднялась черная, пронзительно каркающая «ту-ча», покружилась над нашим домом и с шумом расселась на ближайших деревьях.

Вскоре с этого лужка мама скосила последнюю траву, заставила сестер связать ее и сложить на крыше. Трава начала подсыхать и запахла остро и пряно, мы с удовольствием ворошили ее, а иногда и укладывались на сухие листья и стебли и вдыхали аромат земли.

Осень в тот год на удивление была долгой, солнечной, теплой. По вечерам мы все еще ужинали во дворе и засиживались долго.

Однажды во время нашей скромной трапезы в калит-

ку постучали. Вошел секретарь сельсовета Миркабул, совсем еще мальчишка.

— Тетя Арифа,— сказал он, заикаясь,— с вас суюнчи. Мама оживилась, поднялась из-за дастархана.

— Для тебя не жалко суюнчи,— ответила она, уставившись Миркабулу в рот. По ее лицу ясно было видно, что она ждет вести о возвращении отца с фронта.

— Усманали-ака прислал с фронта посылку,— сказал Миркабул и аппетитно причмокнул губами, будто хотел сказать этим, что если в посылке будет что-то съестное, то, может, и ему перепадет.

— Правда? — сказала мама как-то нерешительно, она не очень-то хорошо поняла смысл слова «посылка», брови ее сдвинулись, но тут же мама улыбнулась — ее успокоило довольное выражение лица Миркабула — и сказала: — Чего же ты не принес ее, посылку эту?

— Из района прислали бумагу, вот,— Миркабул протянул маме сложенную бумагу.— Это, видно, какие-то подарки. Только ехать за ними надо туда, в район.

Мама растерялась:

— Как это ехать? Мне некогда. Ухожу в поле до того, как начинает звенеть жаворонок, возвращаюсь, когда звезды стоят в небе. А близок ли путь до Паркента?

— Ладно, не волнуйтесь, тетя Арифа...— успокоил маму Миркабул,— если завтра кто-нибудь отправится в район, дам ему поручение.

Парень собрался уходить, но мама придержала его за локоть.

— Миркабул, принесут ли до вечера?

— Не знаю,— Миркабул пожал плечами, но, видя разочарование на мамином лице, добавил: — Постараясь, тетя Арифа.

Как только за Миркабулом захлопнулась калитка, во дворе у нас поднялся невообразимый гвалт.

— Подарки, подарки,— кричали мы хором. И даже прошлись в танце вокруг дастархана.

Затем так же бурно принялись решать, а что же это за подарки. Сестры так чуть прямо не передрались меж собой.

Но наконец единодушно решили, что уж хлеб и сахар там будут наверняка — в войну для нас дороже этого ничего, по-моему, и не было.

Весь следующий день провели в нетерпеливом ожидании, каждый шорох за калиткой, каждую арбу, проез-

жающую мимо, считали предвестницей прибытия таинственной посылки.

Мама и сестры летели с поля точно на крыльях, и первый вопрос, который они нам задали, был: «Ну как, не привезли посылку?» И когда вечером за калиткой мы услышали голос Миркабула, мы бросились открывать ему всей семьей.

Посылка оказалась довольно солидным ящиком, который опоясывала узкая и тонкая железная лента и на котором было множество маленьких «глиняных» лепешечек, как нам объяснил Миркабул — печати. Все кудахтали и прыгали возле ящика, отчего-то боясь к нему притронуться — такой уж он был на вид аккуратный, красивый.

Наконец Миркабул поставил посылку на хонтахту и потребовал топор. Никто из детей не пошевелился, не бросился за топором — нам жаль было калечить такую красивую вещь. Мама посмотрела на нас, улыбнулась и сама отправилась в сарай.

Когда вскрыли крышку и принялись вынимать содержимое, сестры аж завизжали от восторга. На хонтахту полилось нечто легкое, нежное, почти невесомое — наряды. И какие! У нас в кишлаке такого мы не видели никогда.

Посылку еще не освободили и наполовину, а нетерпеливая Магрифа выхватила из вороха шелка лиловое платье — почти воздушное, с кружевами по краю подола и отделкой у огромного выреза — и прикинула на себя. Платье ей было явно велико, подол его, мягко извиваясь, прикрыв землю.

— Дай сюда, — крикнула Саифа. — Не видишь, оно тебе совсем не годится.

Но Магрифа держала его крепко. Она плечом отстранила сестру и павой прошлась по двору.

— Ты еще мала, — важно выговорила она Саифе. — Мама, это платье мне, правда ведь!

— Носи, если сумеешь, — ответила мама, тем самым признавая, что она и сама не знает, как носить эту великолепную заграничную вещь.

А ящик, словно волшебный, выдавал все новые и новые чудеса. И самым странным непостижимым чудом в нашем убогом дворе казался белый пушистый халат, отороченный таким же белым мехом. Мы-то знали, что только пери да райские гурии могли носить подобные хала-

ты. И вот он, этот наряд из «Тысячи и одной ночи», у мамы в руках. Это уже потом, позже наступит разочарование и придут слезы смущения, когда медсестра, городская образованная девушка, увидит Магрифу в том самом лиловом платье на улице и объяснит ей, что не платье это, а рубашка и носят ее под платьем. А белый халат богатые заграничные дамы надевали после принятия ванны. Дамы, ванны — все это было и мне, и даже старшим сестрам непонятно, а усвоили мы одно: что там, за границей, все по другому, не как у нас. Но это потом, а сейчас мы походили на охотников, настигших добычу и расправлявшихся с ней.

Белый роскошный халат в мгновение ока оказался на Саифе. Руки сестренки едва достигали и половины рукавов, а подол волочился по земле. Мы дружно захохотали, так как нашей смуглой сестренки почти не было видно, как утонула она в белой пене. Но это ее ничуть не смутило, рукава она быстро и ловко закатала, а подол тут же собралась было отрезать, да мама решительно воспротивилась.

Мы смеялись, щипали Саифу, и только Мазифа стояла молча и смотрела то на маму, то на волшебный ящик, который пока что не принес ей никакого подарка.

Она, видно, из последних сил сдерживала слезы, а я, видя ее дрожащие губы, готов был опередить сестру и расплакаться первым. В обиде за нее. Мама бросила на нас мимолетный взгляд, и вдруг лицо ее стало серьезным. Она извлекла из ящика следующий наряд — платье, отороченное яркой красной тесьмой, и протянула младшей дочери. Только что дрожавшие от обиды губы Мазифы растянулись в улыбке — она была вознаграждена за то, что, будучи младшей, не выказала нетерпения, а, как и положено, первую очередь уступила старшим сестрам.

Провозившись чуть не полчаса, с помощью Магрифы и Саифы надела наконец платье. Руки ее, как и у Саифы, едва достигали середины рукавов, пояс свисал ниже колен, а подол волочился по земле. Она в этот момент напоминала девочку, одевшую платье матери. Подражая сестрам, Мазифа решила пройтись по двору, но, не сделав и двух шагов, запуталась в длинном подоле, рухнула на колени, вскрикнула от боли и перевернулась на бок. Она вся затрепыхалась, точно воробей, попавший в силос, забила руками и задергала ногами, но подняться никак не могла. Мама и старшие сестры хохотали до упаду, а за-

тем взяли за руку и подняли бедную Мазифу, которая, хоть и разбила колени и ободрала локти, все же не подавала вида, что ей больно, чтобы не отобрали платье. Мы угомонились, и глаза наши снова устремились на ящик. Мама продолжала радостное занятие — теперь пришел мой черед: в посылке оказался и костюм, настоящий маленький костюм! Пиджак с брюками. На мои глаза навернулись слезы восторга, и я, наверно, некрасиво скривился, пытаюсь улыбнуться и одновременно стараясь не расреваться.

— Ну, хватит, не криви губы,— сказала Магрифа.

Сестры, наверное, подумали, что мне не очень-то понравился этот наряд, ведь в кишлаках мальчишки ходили в халатах. Вот и теперь я вытер рукавом халата нос и расставил свои босые грязные ноги, прикидывая, как же половчее примерить эти необыкновенные брюки.

Когда я обрядился, Саифа удивленно воскликнула:

— Ой, как тебе идет! Вот теперь поедешь учиться в город, станешь большим человеком, будешь нас угощать всякими сладостями.

Мама и Магрифа крутили и вертели меня в разные стороны, называли то джигитом, то палваном, но все пролетало мимо моих ушей, а если что-то и доходило, то ничего из услышанного я не понимал. Мной владело одно желание — немедленно увидеть своих друзей. С громким победным криком я выскочил за калитку и помчался по улице. А может быть, не бежал я, а летел?! И кричал:

— Турдибай, Шермат, Тилляходжа! Взгляните на мой костюм! Это мне прислал мой папа!

Но друзей, каждый день попусту болтавшихся на улице, сегодня, как нарочно, не было. Пришлось возвращаться.

А во дворе в центре внимания уже был Камал — он расхаживал в серой рубашке, а Магрифа то и дело подсакивала к нему, то одернуть, то разглядить ее.

И еще одну рубашку достала мама из посылки, пеструю, самую маленькую, догадалась, что предназначена она для Эркина, и глаза ее заволокли слезы. Она прижала рубашку к груди да так и застыла.

В ящике кроме того оказались мыло, полотенце, еще какие-то мелочи, но на все это уже никто не обратил внимания. Только Мазифа раскрыла светлую коробочку и принялась лизать что-то белое, похожее на муку. Но вдруг

скривилась и стала плевать. Потом мы узнали, что это был зубной порошок.

— А ну, теперь все снимайте!— вдруг сказала мама грустно. Видимо, воспоминания об Эркине, а также то, что в «волшебном» ящике не оказалось главного — гостинцев, расстроило ее.— Спрячу, оденете на праздник.

Магрифа недовольно сморщила нос, Саифа нахмурила свои тонкие брови, Мазифа смотрела умоляюще, но в конце концов чуть не плача они все-таки вынуждены были снять наряды.

Мама вновь аккуратно сложила одежду в ящик и спрятала его под горку ватных одеял, что лежали на сундуке. Но, видимо, это место ей показалось не очень-то надежным, и она, послав Магрифу узнать, нет ли кого у калитки, под пристальными и одобрительными взглядами всего нашего семейства полезла с ящиком на чердак и спрятала его там. Спустившись, строго наказала никому не говорить о посылке, по всей видимости, совсем забыв, что об этом уже давно знал весь кишлак.

Посылка — после случая с волком, после смерти Эркина — внесла в наше унылое существование оживление, поселила надежду на возвращение в дом радости — такой же яркой и праздничной, как содержимое этого ящичка, присланного отцом.

Может быть, зарождение этой надежды и послужило толчком тому, что история с посылкой так четко врезалась мне в память и припомнилась теперь.

МАМИНО ВЕЛИКОДУШИЕ

Да, посылка стала целым событием в нашей более чем скромной и однообразной жизни. Маленький наш дворик был оживлен далеко за полночь — мама и старшие сестры, забыв про ломоту во всем теле и про то, что завтра вставать чуть свет, без конца обсуждали нечаянную радость.

Вспомнили отца, и только одна из сестер кончала перечислять его достоинства, как их припоминала другая. Казалось, деревянный этот ящичек оживил опустевший без хозяина дом, мы, обитатели его, были так воодушевлены, будто наполнились лари мукой и рисом и сладостями, а вместе с ними наполнились надеждой и наши души. Еще бы! Вот придет курултай — праздник урожая, и мы отправимся на гулянье в нарядах, каких ни у кого не будет, сможем и мы наконец в чем-то пощеголять перед людьми.

В приподнятом настроении собирались мама и сестры утром в поле, мы, младшие, тоже поднялись, хотя в этом не было никакой необходимости.

Когда в калитку постучал тихий Касым, каждое утро собиравший сельчан на работу, против обычая его затащили во двор, хоть он и отнекивался и ссылался на то, что ему надо обойти еще полкишлака. Когда по какой-то причине тихий Касым не мог обходить кишлак, его подменял Артыкбай-вор.

Но мама и сестры радовались приходу тихого Касыма и всякий раз, едва заслышав за калиткой голос Артыкбая-вора, кривились и морщили носы.

Артыкбай-вор обладал удивительным свойством распространять вокруг себя уныние и какую-то серость; когда он появлялся во дворе, чудилось, что двор наш мрачнел и становился убогим.

А вот тихий Касым был человеком безобидным, доверчивым, рядом с ним было легко и свободно. Нелегкой оказалась судьба этого человека. В первые же дни войны он добровольцем ушел на фронт, а через несколько месяцев вернулся — инвалидом.

В одном из сражений ему покалечило лицо — пуля повредила челюсть, выбила левый глаз. Касыму трудно было разговаривать, да он и стеснялся говорить, так как при этом брызгал слюной и потому норовил к собеседнику всегда повернуться правой стороной. Но больше старался молчать. Вот за эту молчаливость и за скромность и прозвали его в кишлаке — «тихий».

Находились, правда, и такие, что пользуясь безобидностью Касыма, посмеивались над его челюстью, но мама и сестры, наоборот, жалели Касыма, всячески выказывали ему свое уважение, хотя и был он неказист на вид — низкого роста, сухощавый, с маленьким лицом, на котором едва был заметен нос-пуговка. В свое время мясо неросло на нем, да и сомнительно было, что нарастет когда-нибудь. Особенно же поражала фигура этого человека — совсем не мужская, с узкими и слабыми, как у четырнадцатилетних девочек, плечами. Мы всегда с удивлением рассматривали его галоши, они ненамного были больше тех что носили мы, малыши. Дополняли же этот странный образ рыжие брови, отчего-то всегда блестящие, будто смазанные жиром.

И все-таки на тихого Касыма приятно было смотреть, я долго не мог понять, чем именно способен этот маленький

человечек расположить к себе, и лишь только спустя годы, повзрослев, понял — искренностью, простодушием, которые излучало все его существо. А приветливую, наивную улыбку не могли испортить ни закрытый глаз, ни покалеченная челюсть. Эта улыбка как бы говорила о том, что он готов делать людям только добро, ничего не требуя взамен.

Мама часто рассказывала нам о дервишах — святых людях, и мы представляли себе этих дервишей именно такими вот — как тихий Касым. Ведь он никогда не обижался на насмешки, взгляд его был всегда ласков и добр. А уж если кто-то уделял ему чуточку внимания, восторг его души тут же отражался на сияющем лице.

Мама иногда говорила: «Когда бог создавал Касыма, ему, видно, не хватило немножечко теста, вот и остался он, бедный, незавершенным.— И, помолчав, добавляла: — Касыму надо было родиться раньше или уж попозже». «Не от мира сего», — мог подумать даже тот, кто видел его впервые.

Если случалось, заходил у мамы с кем-нибудь разговор о тихом Касыме, мама убежденно уверяла: если и есть в кишлаке благородный человек, так это — тихий Касым. Мама, сама добрый и отзывчивый человек, может быть, одна только и понимала до конца тихого Касыма, и потому в доме нашем его всегда приветчали чистосердечно и радушно. Правда, наша выдумщица и озорница Саифа даже и этого святого человека не пропускала, чтобы не подшутить над ним: то подножку подставит, так, что Касым споткнется и галошу потеряет, то на голову ему безрукавку свою накинет, а случалось, что и с ног его сваливала. А он в ответ на все проделки сестры лишь улыбался и говорил маме:

— Арифакон, люблю я вашу дочь, потому и дочку свою назвал Саифой.

Я же не одобрял в душе выходки Саифы. Конечно, я понимал, что это она не со зла, а так, озоруя, но с другой стороны, мне казалось, что над беспомощными людьми нельзя подшучивать, это нечестно. Но если сестру свою я еще как-то прощал, то чужих, посторонних людей, если они обращались с тихим Касымом грубо, насмешливо, начинал прямо-таки ненавидеть. Если же он оказывался у нас во дворе, я всякий раз старался попасться ему на глаза, всем видом своим выражая почтенье и уважение. Хотелось сказать ему что-нибудь доброе, как-то утешить его.

Сегодня мы зазвали его во двор, собираясь поделиться с ним своей радостью, но его расстроенный, подавленный вид сразу же бросился нам в глаза и остановил нас.

Вместо того чтобы начать восторженный рассказ о посылке, мама, стараясь, насколько возможно, придать голосу мягкость и сочувствие, спросила:

— Қасымджан, ты почему такой грустный? Каждый день заходил улыбающимся. Может, тебе нездоровится?

— У меня... у нас...— пробормотал тихий Қасым и замолчал.

— Что ты заладил: «у меня... у нас...»,— все так же мягко говорила мама, не спуская с тихого Қасыма удивленных глаз,— будь откровенным, скажи все как есть...

И тут вдруг человек, которого мы привыкли видеть всегда ласково улыбающимся, отвернулся и закрыл лицо руками, плечи его при этом вздрагивали. Мы глядели на него с открытым ртом, а мама, она всегда так делала, когда огорчалась, тихонько покачивала головой, как бы говоря: как же должно быть тяжело мужчине, если он не может сдерживать слез.

У тихого Қасыма было много детей. «Эй, Қасым, скажи жене, пусть остановится, сам видишь, время трудное»,— давали ему частенько совет «благоразумные» люди. На что тихий Қасым с неизменной улыбкой отвечал: «Что поделаешь, если бог дает нам детей!»

Мама иногда незаметно совала ему в руки кукурузную лепешку, и надо было видеть, как светлело его лицо, но и как смущался он при этом — он, мужчина, должен был принимать помощь женщины.

— Скажи, что случилось,— мама положила руку на плечо тихого Қасыма.

— Жена заболела,— наконец осмелился он выложить то, что тревожило его душу,— дети не дают покоя, просят хлеба.

И опять мама покачала головой, и в глазах ее отразилось и ее собственное горе.

— Трудно твоей жене, болеет, бедная. А детям твоим сейчас и того тяжелей. Но ты должен понять, время сейчас такое — всем тяжело. Не расстраивайся, все наладится. А ну пойдем к председателю, поговорим, может, что дельное и посоветует.

— Оставьте, Арифaxon,— сказал тихий Қасым голосом, в котором все еще звучали слезы.— Председатель только

ругаться начнет. Никогда не ходил я в контору жаловаться на свою жизнь.

— Почему бы не пойти, если дети твои голодные? Не воровать идешь — помощи просить, — сказала мама немного раздраженно. — И не просто «за так», а за свой труд. Я тоже не ходила в контору просить что-нибудь. Ради тебя пойду.

Решительно подхватив тихого Касыма за локоть, мама вывела его со двора. Тихий Касым заметался, стал озираться вокруг, словно бы ища повода улизнуть, но мама была непреклонна, и ему ничего не оставалось делать, как подчиниться. Они направились к колхозной конторе, а мы вприпрыжку бежали следом.

Когда проходили мимо Голубой мечети, тихий Касым вновь попытался высвободить свой локоть из цепкой маминой руки, но это ему не удалось. Так и подошли они дружной парой к приземистому саманному зданию конторы.

Мама распахнула дверь и первым пропустила в помещение тихого Касыма. Когда заходила сама, хотела плотно прикрыть за собой дверь, но сестры не дали ей это сделать — они попридержали створку, чтобы можно было все видеть и слышать. Я пробрался меж ними и тоже просунул голову в дверь.

Посреди довольно запущенной комнаты стоял длинный стол. За ним, опершись грудью о край, сидел неприятный на вид человек — круглоголовый, темнолицый, со сплюснутым носом. «Это председатель», — шепнула мне Саифа. На торцевой части, положив на стол локти, сидел председатель Совета урожайности Мирджамал-ака. Его мы знали, он несколько раз приходил к нам в дом.

Мужчины переглянулись, увидев, с каким выражением лица вошла мама. А еще больше, видимо, их удивила куча ребятишек, с любопытством замершая у двери.

— В чем дело? — спросил, недовольно поморщившись, председатель и уставился на маму в ожидании ответа.

— Сали, — начала мама, показывая на стоящего рядом тихого Касыма, — бедный, пошел на фронт добровольцем, вернулся без глаза, покалеченный. Сами знаете, жена его хворает. Детей много. Собиралась идти на работу, а тут он пришел. Нечего есть у него в доме. Помогите, а осенью вычтите с него.

— Что ты мелешь? — Председатель Совета урожайности Мирджамал-ака бесцеремонно прервал мамину речь. —

Другие сыты, а ему не досталось, что ли? На складе нет ни грамма зерна. С каких это пор стала болеть твоя голова за других?

— Мирджамал-ака, — нахмурилась мама, — кто бы говорил, да только не вы. Не ради себя, ради Касыма пришла я к вам. Война, трудно, понимаю. Все, что у нас есть, отправляем тем, кто на фронте. Но и вы поймите. Правительство не говорило, оставайся сам голодным, а все, что имеешь, отправляй на фронт. Если доить корову, не давая ей корм, она перестанет давать молоко, а потом и просто сдохнет. До работы ли ему, когда восемь детей кричат, как галчата, просят есть?

— Кто виноват, что он расплодил столько детей, — пробурчал Мирджамал-ака, чертя пальцем на столе.

— Э, бросьте, не гневите бога, — сказала резко мама. — Дети — это всегда хорошо.

— Что мы дадим, если на складе нет ничего? — уставился председатель на маму. — Не лезь, Арифакон, не в свое дело. Почему ваша семья не вышла в поле?

— Выйдем! — Мама и на этот раз ответила резко. — Неправда, что на складе нет ничего. Не уйду из конторы, пока не выпишете что-нибудь Касыму.

— Будь прежние времена, таким скандальным женщинам укоротили бы язык, — проворчал снова Мирджамал-ака, поворачиваясь к председателю.

У мамы задрожали губы, она вдруг стремительно подошла к столу и стукнула по нему кулаком.

— Думай, что говоришь! — Мама так разволновалась, что я подумал, что она задохнется от гнева. — Мерзавец, прошли те времена, о которых ты говоришь. Мой муж тоже занимал высокие должности, получил орден, ушел добровольно на фронт, не спрятался, как ты. И за вас тоже проливает кровь. На днях, оказывается, ты из-за нескольких колосков ударил жену Хасила. Вернется ее муж с фронта, голову тебе оторвет. Как ты посмел поднять руку на женщину! Сколько колосьев остается лежать на земле, а ты жадничаешь. Ты предпочитаешь, чтобы никому не достались... Что, думаете, не знаю, как ночью Пердаш таскает к вам домой муку с мельницы?

— Клевета! — закричал председатель и, вскочив, приблизился к маме: — Я отдам вас под суд!

— Если поймаю, возьмете вину на себя? Вы оба? — Мама по очереди ткнула пальцем в каждого. — Хорошо, вме-

сте с людьми подстерегу вас. Тогда будет ясно, кого надо под суд отдавать.

В комнате наступила тишина. Мы у дверей тоже боялись пошевелиться, а я с гордостью думал о том, какая моя мама смелая, и готов был броситься в любую минуту ей на помощь.

— С ней только шайтан может сладить,— сказал Мирджамал-ака, не поднимая головы, и тем самым признал себя побежденным.

— А ну пойдемте все вместе на склад,— не унималась мама и, пропустив вперед тихого Касыма, ждала, когда последуют за ней раис и Мирджамал-ака. Но те не шелохнулись, а раис слабо махнул рукой — дескать, ладно уж, ступайте на склад, разрешаю.

За конторой была площадь, посреди которой высилась заброшенная Голубая мечеть. Когда началась война, ее приспособили под склад. Вот туда-то, в бывшую мечеть, и повела мама тихого Касыма, который то и дело с испугом оборачивался на контору.

Мы не отставали ни на шаг. Сестры мои выглядели не совсем уверенно, да, честно сказать, и в мою душу закрадывался страх — еще никто не отваживался вот так запросто идти на колхозный склад. А что, если маму и тихого Касыма не пустят туда?! Весь кишлак узнает об этом. Но нет, я видел, мама не отступит, не уйдет ни с чем. Такой я маму видел впервые, и детское мое сердце переполняло любовь и гордость за то, что в смелости она и мужчине не уступит.

Низенький рябой мужчина, запиравший изрядно покосившуюся дверь склада, увидев маму, замер в удивлении — дескать, что надо здесь этой женщине.

— Хайдар-ака, не закрывайте,— сказала мама, и, подойдя к двери, собственноручно вытащила замок.— Дети Касыма сидят голодные, вам придется дать ему немного зерна. Сали разрешил.

— Зерна мало,— отрезал недовольно кладовщик.— Без председателя не могу дать. Пусть сам придет, распорядится.

— Он уже распорядился. Открывай,— накинулась на него мама, ошеломив вдруг нас всех,— а то из твоего дома придется вынести хлеб, знаю, есть у тебя лишний. Ты ведь с председателем заодно!

Кладовщик пытался закрыть дверь, но мама, оттолкнув его, решительно зашла внутрь. Сестры нырнули сле-

дом. Я же остался возле двери. И то следил за маминными действиями, то посматривал на улицу, мне все казалось, что раис и Мирджамал-ака препожалуют все-таки сюда и помешают маме сделать доброе дело.

А мама схватила один из валявшихся пустых мешков и стала насыпать в него зерно, горкой возвышавшееся у глухой стены склада. Когда небольшой мешок наполнился до половины, она поставила его на весы, что стояли возле двери, затем приказала кладовщику:

— Запиши. Десять килограммов.

Подошла к тихому Касыму и закинула мешок ему на плечо.

— Арифaxon, председатель меня посадит,— взмолился рябой кладовщик, не решавшийся, однако, отобрать у нее зерно.

— Не ворчи, как женщина, сама отвечу,— бросила мама кладовщику, затем слегка подтолкнула тихого Касыма.— Касым, иди успокой детей своих. И жену накорми как следует, пусть поправляется.

Но Касым с мешком на плечах продолжал стоять посреди склада.

И опять мама взяла его за локоть и пошла провожать.

Касым то и дело останавливался— с восхищением и надеждой смотрел на маму, но вдруг оборачивался к се-страм, и тогда страх отражался на его лице, страх и недоумение: да правда ли все это? Но вот же он, мешок, тяжело и сладостно оттягивает плечо, мешок с зерном на его плече принадлежит ему! И вдруг тихий Касым окончательно остановился и, глядя на маму, заплакал.

И мы готовы были заплакать вместе с ним. Тогда я не очень-то хорошо понимал: отчего же плачет тихий Касым? Ведь все закончилось хорошо, и дети его будут сыты. Я только видел и надолго запомнил его лицо и потом, вспоминая слезы на светлом этом, улыбающемся лице, подумал, что, наверное, чувства его в тот момент были так сильны, что выразить их могли только слезы признательности. Самые чистые слезы.

Ведь мама в тот момент для тихого Касыма была доброй пери, а может, и не пери, а просто добрым человеком, самым щедрым на земле. И, видимо, исстрадавшаяся душа этого забитого и обойденного человеческой лаской человека поняла, что сейчас эта женщина не просто протянула ему кусок хлеба, не просто защитила его детей, она защитила и его человеческое достоинство.

Видно было по всему, что он стоял и мучительно искал такие слова, которые способны по достоинству оценить подобный поступок. Мама же смотрела на это просто. Она сказала:

— Ну, хватит, перестань плакать, не позорься!

Вновь подтолкнула его легонько и смотрела вслед тщедушной фигурке до тех пор, пока тихий Касым не скрылся за поворотом. Тогда она улыбнулась, озорно, совсем как девчонка, подмигнула старшим своим сестрам, и они, наперебой обсуждая происшедшее, отправились на поле. Я же, точно на ногах моих были скороходы, припустился домой.

О чем я думал тогда по дороге? Может быть, ни о чем. А может быть, о том, что теперь никогда не доставлю огорчений своей маме, а если и придется ей за что-то ругать меня, перечить не стану, буду стоять, покорно склонив голову.

Прошли годы. Тот случай с тихим Касымом, наверное, был первым мамным поступком, заставившим меня сделать вывод, что мама моя добрая. Что она может быть не только мамой для нас, но и для детей Касыма, да и для него самого, она может быть матерью всем людям. Но уже и тогда, маленьким, я понимал, что не все люди такие, как мама, а иначе разве плакал бы тихий Касым или были бы на свете войны? Откуда же в маме такая доброта?

Только взрослея, шаг за шагом, осознавал я себя в окружающем мире. И я понял, что маленький наш двор — один из бесчисленных на земле дворов всего-навсего. И так же, как нельзя представить наш дом без домов всей земли, невозможно, оказывается, вообразить и дома всей земли без нашего дома. И дома эти земные населены людьми. Человек — все мы носим это имя. Так вот для мамы имя человек было святым. И если у человека горе, надо разделить это горе с ним, а если у тебя радость, надо поделиться ею с людьми.

Но тогда, в детстве, я не мог все это осознать и сформулировать. Я мог лишь подбежать к своей маме и обвить ее шею руками.

АРТЫКБАЙ-ВОР

С окончанием зимы, с первым весенним ветром, в те самые трогательные дни, когда начали набухать почки, на улице стал раздаваться крик Артыкбая-вора: «Эй, выходите в поле!» Затем следовал удар рукоятью камчи в ка-

литку. Этот голос, звучавший на одной ноте, всегда раздавался перед рассветом, услышав его, я подскакивал, будто в мое тело вонзилась колючка, мне казалось, что Артыкбай-вор только для того и родился, чтобы кричать, созывая людей на работу. Впервые услышав этот голос, я пренсполнился уважения к Артыкбаю-вору,— он кричал солидно, с достоинством, и я решил, что, когда вырасту, буду бригадиром, стану ездить на коне и звать людей на работу. Но чем дальше, тем больше голос этот вызывал во мне неприятные чувства, будто ежедневно призывал людей на муки, а когда я осознал, что он угрожает маме, сестрам, то стал его ненавидеть. Ведь он мешал им всласть поспать, обрывал сны на середине. Особенно неприятен был голос Артыкбая-вора сестрам Магрифе и Саифе. Как только Артыкбай-вор стучался в калитку и раздавался его голос, они, мученически сморщившись, прятали головы под одеяло, осыпая его проклятьями: «Чтоб ты шею себе сломал, вор, чтобы тебя перевернуло!»

Крик Артыкбая-вора, резкий, неотступный, будил и меня, и я, высунувшись из-под одеяла, видел, с какими гримасами и страдальческими лицами бедняжки сестры покидали свои постели. С жалостью, но в то же время и с интересом наблюдал я за тем, как преображал стук в калитку наш маленький дом. Сестры поднимались с таким видом, будто каждой под одеяло только что заползла змея. А затем они принимались метаться по дому, отыскивая свою одежду и поспешно натягивая ее на себя.

Завтрак проходил на ходу — пиала чая, кусок лепешки.

Конечно же, когда открывалась дверь и появлялась физиономия Артыкбая-вора, сестры уже клали серпы на плечо, так как больше всего на свете они боялись голоса Артыкбая-вора.

Артыкбай-вор был высокого роста, со скуластым лицом, с которого никогда не сходило выражение недовольства и злости. Стоило только взглянуть на него, и становилось ясно: ничего хорошего от этого человека ждать не придется. Бригадир с видимым удовольствием сквернословил; если этого оказывалось мало, для того чтобы «облегчить» душу, он и плеткой мог пройтись по чужой спине. Год назад он вернулся с фронта раненный в левую руку. Соседки, когда принимались перебивать косточки Артыкбаю-вору, непременно с раздражением добавляли: «Сам себя покалечил, руку себе прострелил». Слухи о нем ходили

разные, и все-таки, как только он вернулся с фронта, его избрали бригадиром, ведь в кишлаке почти не было мужчин.

В то утро мама, встававшая, видимо, раньше всех в кишлаке, как всегда, решила перед уходом на работу проверить, на месте ли наша посылка. Только стала было она подниматься по лестнице, как услышала отвратительный голос Артыкбая-вора, и тут же калитка затряслась под ударами рукоятки его камчи. Мама растерялась — она не знала: поспешить ли открывать бригадиру или все-таки убедиться, что сокровища наши целы? Пока она размышляла, раздался новый стук, пришлось спуститься и открыть калитку.

Артыкбай-вор пинком распахнул ее, вошел во двор и подозрительно и зло уставился на маму — дескать, чего это ты так долго не открывала.

Мама смутилась и покраснела, словно ее застали на месте преступления, а взгляд ее невольно обращался к чердаку.

Артыкбай-вор сначала было нахмурился, а затем и сам с интересом уставился на чердак. Глаза его хитро сощурились, а на лице промелькнула словно догадка.

Первое, что сделала мама, возвратясь с работы, — поспешно забралась на чердак. И тут же кубарем скатилась с лестницы. Глаза ее были широко открыты — словно ей привиделось там нечто сверхъестественное.

— Магрифа, дочка! — позвала она старшую сестру. — Случилась беда — посылку украли.

— Как это украли? — удивилась Магрифа. Она и представить не могла, что такое возможно, и потому говорила как-то даже спокойно. — Кто же мог украсть?

— Кто же еще, как не Артыкбай-вор, чтоб сгореть ему в аду! — закричала громко мама. — И не сдохнет, подлец! Утром пойду в контору, потребую, чтобы обыскали его дом. Из-за него не знаешь покоя ни дома, ни в поле.

Сестры, наконец-то осознав, что мама говорит серьезно и что посылки действительно нет, запричитали, заголосили, дружно посылая проклятья на голову Артыкбая-вора.

— Нет, недаром этого негодяя кличут вором, — заключила мама.

Да, я привык к этой кличке и не вдумывался в то, что же это значит, вор и вор, хотя слухи, которые ходили по

кишлаку, достигали и монх ушей: ведь мы, дети, постоянно вертелись возле взрослых. Говорили, будто умел брать Артыкбай все, что плохо лежит. Люди несколько раз ловили его на мелком воровстве — то чужой кетмень прихватит, то мешок, а то и узелок с провизией унесет с поля.

Двор Артыкбая-вора был за нашим домом, с другой стороны примыкал к дувалу нашего соседа Хаджи-аксакала. Несмотря на то что Артыкбай-вор был мужчиной вроде бы здоровым, двор у него был грязным и запущенным, стекла на айване повывиты и прикрыты длинными стеблями подсолнуха. Жена его, тетушка Ибо, низенькая, пышногрудая женщина, зимой и летом не снимавшая единственное засаленное платье, постоянно что-то бормотала себе под нос. Ни Артыкбай-вор, ни его жена не отличались гостеприимством, да и сами особенно по гостям не расхаживали, а если и нужно им было зайти к кому-то, то они норовили это сделать во время ужина.

Тетушка Ибо целыми днями возилась во дворе, все что-то хлопотала, чаще всего чинила одежду, а ближе к вечеру ставила котел на огонь, принималась готовить ужин. У нее от первого мужа были дочь Сарвинисо и сын Абдурахим, живший в Той-Тюбе. А сын от Артыкбая-вора, Эргаш, был на год младше меня — бледный, со вздутым животом.

Он тоже, как и его отец, был очень злым и капризным. Но более всего меня поражала в нем способность... есть глину, я много раз видел, как мать заставляла сына выплевывать ее изо рта, и била его по руке, чтобы не тащил больше никогда в рот. Если Эргаша кто-нибудь обижал или задевал, он со злостью кусался и царапался. Артыкбай-вор выдал свою падчерицу Сарвинисо за человека по имени Халил, жившего в верхней махалле. Про Халила тоже шли по кишлаку нехорошие разговоры — будто и он вернулся целым и невредимым с войны только потому, что сам выстрелил себе в руку.

А еще говорили, что Халил стоит своего тестя Артыкбая-вора. То в верхней, то в нижней махалле пропадали овцы и козы. Грешил народ на этих двух родственников, но открыто обвинять боялись — ведь за руку-то их никто не поймал. Вот и теперь посылка исчезла без свидетелей.

Чтобы убедиться, что это так, что посылка исчезла, мама всех нас затащила на чердак.

Мама и сестры тщательно перевероросили весь запас сена — нет, знакомого и столь дорогого ящика не было.

— Мама,— вдруг сказала шепотом Магрифа,— а вот сюда ставили лестницу, со стороны вора, сгореть бы ему в аду!

Крыши на узбекских домах плоские, на них сооружаются балаханы — или полностью крытые, или только навесные легкие сооружения — для сушки сена, трав.

Мама, приблизившись к выступу на краю крыши, наклонилась, заглянула в соседний двор — там, на мягкой весенней земле, были четко видны углубления от лестницы. Кроме того, камыш на выступе был помят.

— Ты верно говоришь,— сказала наконец мама, выпрямившись,— никто не мог взять, кроме него.

Проведя это нехитрое расследование, мама спустилась вниз, а сестры все стояли, глядя на дом Артыкбая-вора, словно ждали, что он выйдет и они смогут бросить ему в лицо обвинение, обрушить на голову негодя весь гнев, что теснит их души, за то, что он их лишил только краем коснувшейся радости. Но безжизненно было во дворе Артыкбая-вора, и расстроенные и разочарованные сестры спустились наконец с крыши.

А мама между тем, перебросив концы платка на грудь, вышла на улицу. Я тоже, кое-как отодрав руку Камала, вцепившегося в подол моей рубашки, выбежал за калитку.

Обойдя вокруг дома Хаджи-аксакала, мама, постучав, вошла во двор Артыкбая-вора. Двор был пуст. Мама оставилась на мгновение, затем, коротко кашлянув, двинулась дальше и, приподняв за край мешковину, повешенную вместо двери, заглянула на айван. Я тоже сунул голову под мамин локоть. На айване царил полумрак, так как окна были прикрыты стеблями подсолнухов. Но вскоре глаза освоились и мы разглядели сидящих. Артыкбай-вор, прислонившись спиной к сандалу, что-то жевал. Он, как только увидел нас, наклонил голову и вытер рот.

— Здравствуйте — сказала мама, входя.

В ответ Артыкбай-вор не проронил ни звука. Мама присела на край рваного домотканого паласа, я, сев рядом с мамой, тут же ущипнул пыхтевшего рядом с отцом Эргаша, мне казалось, что и он тоже причастен к пропаже нашей посылки. Эргаш засопел еще сильнее, а затем вцепился зубами мне в руку. Я чуть не вскрикнул от боли, но мы ведь с мамой были в гостях, и потому я сдержался и только пытался отодрать от себя вцепившегося мертвой хват-

кой Эргаша. Пришлось даже дать ему по шее. Мама, сжав мне плечо, сказала:

— Эй, ты что, с ума сошел?

А Эргаш все не разжимал зубов, и тогда во мне поднялась такая злость, что я с силой отшвырнул своего врага и завопил:

— Убью вора!

Артыкбай-вор вскинул на маму горящие злобой глаза.

— Это ты подучила сына?

— Умереть мне,— растерялась мама и стукнула кулаком меня по плечу.— Глупый он еще, что взбредет в голову, то и болтает.

От неожиданного оборота дела мама растерялась, от ее решительного вида и не менее решительных намерений не осталось и следа. Я с удивлением следил за тем, как менялся мамин голос.

— Артыкбай-ака, отец Анвара прислал с фронта небольшую посылку. По простоте своей я спрятала ее на крыше, под сеном, а кто-то стащил. Лестницу ставили с задней стороны крыши,— мама и на этот раз не смогла сказать, что лестницу ставили со стороны его двора.— Вы случайно ничего подозрительного не заметили?

— Сама знаешь, прихожу с поля и сразу ложусь отдыхать,— ответил Артыкбай-вор,— где же мне что-то видеть.

И тут я с не меньшим интересом и удивлением отметил, что и голос Артыкбая-вора изменился. Не было в нем ни грубости, ни угрозы, а слышалась какая-то вкрадчивость.

Он вздохнул и провел ладонями по лицу.

— Хуже нет получить дурную известность, все подозрения начнут валить на тебя. У волка, считают, всегда морда в крови — съел ли он овцу или не съел. Из-за одного-единственного кетменя, будь он проклят, люди бог знает что про меня болтают. Из-за нужды взял, а прославился как вор. Я человек набожный, живу с надеждой на милость божью. Колхозное начальство, народ, поверив мне, доверили бригадирство. Соседка ты мне. Родственница. Детей у тебя много. Хоть и женщина, а растишь такую ораву. Постыдись обвинять меня в воровстве. Побойся бога. Если я взял посылку, то пусть положу ее в могилу своего ребенка.

Эта страшная клятва доконала сердобольную маму.

— Атрыкбай-ака,— я видел, что она готова уже и прощение у него просить,— пусть бог накажет меня, если об-

вниваю вас в воровстве. Просто зашла узнать по-соседски: может, вы что заметили?

Голос Артыкбая-ака вновь окреп и стал уверенным.

— Положись на небо,— сказал он наставительно,— того, кто у бедняка украдет, покарает бог.

— Ладно, не обижайтесь,— забормотала мама, вставая и чувствуя себя неловко оттого, что зашла.

Не верь, не верь ему, хотелось мне крикнуть маме, видишь, какие у него глаза хитрые и бегающие. Я-то не поверил ни одному слову и, выходя, все-таки сказал Эргашу:

— Вор.

Эргаш, обозлившись, схватил с хонтахты глиняную касу, чтобы запустить ею в меня, но отец поймал его руку.

— Из-за какого-то болвана хочешь разбить касу?

Мама, уже стоявшая на пороге, обернулась.

— Артыкбай-ака, постыдитесь называть несмышленно-го ребенка болваном.

— Идите, идите с богом,— махнул рукой Артыкбай-вор.

И мы ни с чем ушли.

Мама после пропажи посылки часто по вечерам выходила на улицу: не дойдут ли до нее слухи о том, что объявились в кишлаке необыкновенные вещи — конечно же вещи из нашей исчезнувшей посылки? Но люди молчали, и мама, разочарованная, возвращалась домой.

Но что удивительно, с той поры, как пропала наша посылка, по утрам Артыкбай-вор уже не стучал так нахально в нашу калитку, да и орать стал потише, и нам казалось, что тем самым он хочет как-то обелить себя, оправдаться, но этим только лишь поселял в нас еще большую уверенность, что кража — дело его рук. Это был первый человек, которому я не поверил. Теперь, прежде чем заснуть, я все придумывал наказание Артыкбаю-вору, но так и не мог придумать. Непросто это было, ведь он был не только соседом, его связывали с нами и родственные узы. Артыкбай-вор приходился дядей сестрам Магрифе и Саифе, так как был братом первого мамино-го мужа, умершего совсем молодым.

И это не укладывалось у меня в голове — как же так, родственник, дядя, а относится к нам хуже, чем к чужим. Мама, помню, часто говорила: в кишлаке, считай, все родственники и должны помогать друг другу, заботиться друг о друге. А тут дядя — и обокрал! И ведь он столько говорит о боге — почему же бог не покарал его? Что-то тут

не так: или Артыкбай-вор — честный человек, или... или бога никакого просто нет?! И, уже засыпая, я все-таки делал вывод: нет, нечестный Артыкбай-вор, глаза у него нечестные.

СКАЗКА

О маме можно говорить... бесконечно. И не потому, что, став взрослым, ты понимаешь истинную цену ей. А просто потому, что все на свете связано с ней.

Моя мама была женщиной не крупной и сухощавой, а вот руки ее сразу бросались в глаза — сильные, какие-то жилистые, наверное, от постоянных трудов. Она была потомственной крестьянкой, и если было что-то на свете для нее святое — так это работа в поле.

Помню, в детстве я любил наблюдать за тем, как хлопчет мама по хозяйству, но еще больше нравилась она мне в минуты отдыха. Тогда лицо ее на миг оставляли заботы, и оно становилось нежным и добрым, и только глаза, даже тогда, когда улыбались, где-то в глубине таили печаль. Это позже, повзрослев, я осознал, какой же нележкой была ее судьба, и трудней во сто крат судьба эта была оттого, что не умела, не могла мама быть практичной. Не позволяла ей это делать ее нежная, впечатлительная душа. Мне в детстве порой даже казалось, что она всех любит одинаково: нас, детей своих, соседских ребятишек, бездомных собак. Ведь она даже сухое дерево не решалась срубить, а жалея козленка, не выдаивала до конца козу.

Мама была женщиной малограмотной, но сколько же она знала всяких сказок и легенд! Но рассказывала она нам их только в особых случаях — когда уж очень надо было отвлечь нас от невеселых мыслей или «заговорить» голод.

Однажды, вернувшись с поля, мама поняла, что ей не придется хлопотать у очага над ужином. Припасов в доме не осталось никаких. Тогда она заварила чай сухими персиковыми листьями, затем достала из плетеной корзины, подвешенной к потолку на айване, две кукурузные лепешки и разделила их на шесть частей. Видя, что мы, не наевшись, жалобно поглядываем на корзину, где остались лепешки на утро, она вдруг лукаво улыбнулась и сказала:

— А ну идите-ка сюда, мои цыплятки.

Мама приняла важную осанку, уселась, точно шах какой, поджав ноги, уперев кулаки в колени и слегка склонив голову, голосу придала важность и значительность.

— Сейчас я расскажу вам удивительную сказку. Ее не слышали даже всадники, что уж говорить о пеших. С этой сказки еще не сняты сливки.

Мы все радостно зашевелились — знали, это будет интересная история.

Саифа нетерпеливо перекинула косы за плечи и первой придвинулась к маме.

— Слава богу, избавлюсь от капризов вот этого озорника, — Магрифа погладила по головке Камалю. — Посиди теперь хоть немного тихо.

Я, как обычно, устроился возле Мазифы — улегся на курпачу, а локти поставил ей на колени, подперев ладонью подбородок, приготовился узнать такое, что еще не доводилось слышать даже всаднику.

— Эй, жеребятки мои, — вдруг обратилась мама ко мне и Камалу, — у меня есть одно условие. Если не согласитесь с ним, я не расскажу сказку.

— Какое условие? — спросила Мазифа.

— Условие такое. Когда кончится сказка, не станете просить кукурузную лепешку, — ответила мама, — ляжете и будете спать. Вообще после сказки ничего нельзя спрашивать.

— Почему? — вновь спросила Мазифа.

— Если будете просить кукурузную лепешку, то вам принятся дивы из сказки, напугают, потом от страха губы обметает.

Сказав так, мама рассмеялась — она поняла, что проговорилась. Но мы так любили ее рассказы, что нам сейчас было совершенно неважно, почему именно она припомнила сегодня сказку.

— Было ль, не было ль, — начала мама, и голос ее звучал глухо и таинственно, и мы тут же забыли про плетеную корзину, висящую у нас над головой. — В давние времена на западе ли, на востоке ли стояла гора Каф. Гора была настолько высокой, что ее можно было видеть с любого конца земли. А у подножия горы Каф раскинулся райский сад.

Мама, замолчав на мгновение, обвела всех нас вопрошающим взглядом, дескать, ну как — интересно? А может, просто обдумывала, как бы позанимательнее рассказать сказку, чтобы вытряхнуть из нас окончательно эти неотступные мысли о хлебе!

— В райском краю солнце катится, но не садится, —

наконец продолжила мама тихо и задумчиво.— Родники там, похожие на глаза филина, кипят и булькают. Если старый человек утолит жажду из кипящего родника — помолодеет. Цветы вокруг родников столь благоуханны, что от аромата их захмелеть можно. Деревья звенят изумрудной листвой, и под каждым из них — дастархан...— Тут мама испуганно прикрыла рот рукой, но, убедившись, что мы не заметили ее оплошности, продолжала: — Пруды под горой Каф полны золотых рыбок, и у птиц райских — золотые крылья. И вот в таком лучезарном саду живут девушки-пери. Сорок девушек одного возраста, одного роста. И платья их под цвет рыбок и птиц отливают золотом.

— А что, у них не бывает ситцевых платьев? — спросила вдруг Саифа.

— Ситцевые платья положено носить таким, как ты, кишлячным девчонкам, а пери — создания небесные, — рассмеелась мама, но тут же вновь голос ее зазвучал глухо и таинственно: — Длинные золотые волосы девушек струятся по земле. Человек, увидевший пери, лишился чувств от восхищения. Сидят сорок девушек на мраморных ступенях у прудов, переливающихся всеми цветами радуги, и поют райскими голосами. Но только песни их полны тоски и печали, и даже павлины, внимающие волшебным звукам песен, преисполняются печали. «Прекрасен райский сад, но жизнь в нем подобна аду. Разве можно быть счастливым... в неволе?» — так поют юные пери.

— Как, разве и там, в раю, может быть неволя? — спрашивает нетерпеливая Саифа.

— Может, когда райские кущи захватывают дивы, — отвечает мама и недовольно глядит на Саифу, то и дело перебивающую ее. — Замолкает песня пери, и удаляются они, звеня чуть слышно браслетами, в чертоги, которые день и ночь стерегут дивы. Отвратительны захватчики — головы их, точно арбы, руки подобны бревнам, а глаза полыхают как тандыры. Даже мечтать о свободе запрещено бедным девушкам, и само небо не в силах помочь им и оплакивает их участь. Когда дивы вопят, в небе гремит гром, сверкает молния, падают острые камни. Пери, боясь злобы дивов, прячут свою печаль глубоко в сердце. И ждут. Ждут прихода батыра, который освободит их.

Когда мама кончила сказку, головы наши были опущены, а глаза полны слез.

— А можно добраться до горы Каф? — спросила Саифа шепотом.

Мама секунду помешкала и вместо ответа спросила с интересом:

— Ну а если бы достигла горы Каф, что бы ты сделала, доченька?

— Надоел мне Артыкбай-вор, и серп я устала держать в руках,— жалобно проговорила Саифа,— если бы только было можно, ушла бы к пери, купалась в золотых прудах, обсыхала на мраморных ступенях.

— Глупая,— рассердилась мама,— что значит устала держать серп! Надо! Время такое.— Но, видя, как крупные слезы покатались по лицу Саифы, она подумала, видно, что дочь ее еще совсем девочка, ей бы в мирное время в куклы играть да сказки слушать, а она уже работает наравне со взрослыми. Мама улыбнулась, погладила Саифу по голове и шутливо сказала: — Да разве пери примут тебя в твоём ситцевом платье и тупоносых галошах? И потом, в райском саду... там ведь только поют и наслаждаются музыкой, но никогда не едят. А ты? Ты же сразу набросишься на фрукты, я тебя знаю. Ну и выгонят тебя из райского сада, как Адама и Еву.

— Ничего не трону, ничего,— сказала Саифа горячо, и на глазах у нее заблестели слезы.— Мне бы только попасть туда.

— А мне в райский сад совсем не хочется,— вдруг подала голос тихоня Мазифа.— Ведь там дивы, а разве дадут они сорвать хоть одно яблоко?

Мама громко расхохоталась, старшие сестры сначала с недоумением уставились на нее, а затем тоже рассмеялись.

Нет, сказка не смогла увести нас далеко от главной темы — как хорошо было бы по-настоящему, вкусно поесть. И только я был все еще там, у подножия горы Каф.

Что значит корзина с двумя кукурузными лепешками, если можно, превратившись в золотого мальчика, играть среди пери, слушать их волшебные голоса, гладить их шелковые, отливающие золотом волосы.

— Анварбай! О Анварбай! — позвал меня нежный голос, и я не сразу понял, что это голос мамы.— Вижу по твоим глазам, тебе понравилась сказка.

— Когда вырасту, обязательно куплю себе кинжал,— сказал я не то маме, не то прекрасным пери, что никак не хотели меня отпустить,— и убью дивов, всех до одного.

Мама с улыбкой и в то же время как-то серьезно посмотрела на меня. Затем, притянув к себе, поцеловала в глаза.

— Милый мой сынок,— сказала она, поглаживая мои волосы,— лоб у тебя широкий, когда вырастешь, будешь стоять во главе какого-нибудь большого дела. Верю, когда станешь батыром, всегда будешь сражаться с дивами,— она опять рассмеялась и закончила: — Ну и женишься, конечно, на самой прекрасной пери...

— Не нужна, не нужна она мне,— пробурчал я,— ни за что не женюсь.

— Ладно, ладно, там видно будет,— успокоила меня мама.

Давно опустилась ночь на наш маленький дворик, даже сверчки, кажется, уже устали стрекотать. Мама и сестры лежали, отвернувшись друг от друга. Они спали. Неужели им не хотелось поговорить? О чем? Не знаю. Обо всем. О райском саде. Я легко и свободно оторвался от того, что меня окружало,— овчинной кошмы, колченогой хонтахты, щербатого чайника в нише, и устремился туда, где в водоемах плавали золотые рыбки, где дурманяше пахли травы и цветы. И где все-таки не было счастья, радости! Но ведь мама говорила, что без радости жить нельзя. Значит... значит, надо во что бы то ни стало убить дивов. Но тут я услышал грохот и грома небесные — дивы, все с головами такими, как у Артыкбая-вора, размахивали огненными мечами, угрожая испепелить всякого, кто осмелится поднять на них руку. Пери сбились в одну тревожную стайку и не знали, что делать. Но вот они протянули руки ко мне — Анварджан, спаситель! Голоса их шелестели, как лепестки раскрывающихся цветов. «Анварджан! Вставай, возьми в руки кинжал и освободи нас от когтей дивов, спаси от вечного плена!» Эти нежные молящие руки сейчас коснутся меня, сейчас... и мое сердце начинало учащенно биться, я даже боялся, что его стук услышат дивы, и натягивал на голову одеяло. Но нет, прятаться было нельзя, надо было спасать пери, и я снова сбрасывал одеяло и решал: если спасу сейчас пери, то куда же мне их вести? Сюда, в наш маленький дворик? А что, если они узнают, что и у нас, на земле, идет война? Что и здесь есть дивы, которых надо убивать?!

— Бей фашистов! Ура! — закричал я во все горло.

Мама оторвала голову от подушки, тревожно спросила:

— Анварджан, мальчик, ты звал меня?

Я ничего не ответил. Я принимал благодарность прекрасных пери и плакал. Отчего? Не знаю. Может, оттого, что впервые мать-природа коснулась меня своим крылом и увела в самую прекрасную страну, страну воображения.

Много сказок слышал я и потом, но эта впервые заставила работать мое воображение, досказывать эту сказку, расцвечивать ее своими мечтами. Я плакал, наверное, оттого, что смутно ощущал: я могу восхищаться прекрасным. Я могу это прекрасное и сам творить в своем воображении.

Потом, позже, мое воображение то помогало мне, то подводило меня. Но всякий раз я думал о той, которая пробудила во мне эту способность. О маме.

Ведь тогда, рассказывая нам историю порабощения пери, мама не просто хотела отвлечь нас от убогой нашей, голодной жизни, она хотела преподать нам урок того, как надо поступать с врагами.

СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ

Сестра Магрифа была первенцем в семье, а я после смерти Эркина стал младшим из детей. Магрифа очень походила на маму — только разве чуть выше была и помолодому крепче. Такой же была она и впечатлительной. Шестнадцати лет вышла она замуж за парня по имени Зиятбай, это случилось еще до моего рождения. Первые ее дети Юлдуз, ровесница Мазифы, и Юльчи, мой ровесник, умерли от кори.

Когда Зиятбай-ака ушел на фронт, Магрифа, покинув дом свекра, вернулась под мамино крыло. Говорили, что зять ушел на фронт добровольцем. Я много раз видел Зиятбая-ака, однако в моей памяти не сохранились ни облик его, ни какие-либо поступки. Мама и сестры часто вспоминали его, и в этих воспоминаниях он представлял настоящим батыром, и казался мне порой Алпамышем, ушедшим, чтобы поразить всех врагов.

Как и сестра Магрифа, я с нетерпением ждал возвращения Зиятбая — нашего героя. Вот почему в памяти моей детской так ярко запечатлелся тот осенний день, когда я услышал радостный крик в нашем дворе: «Зиятбай вернулся!» Стояла поздняя осень, кишлак опустел, словно люди покинули его, с деревьев опадали последние листья, воробьи, склонив набок голову, невесело чирикали, нахотлившись на выступах крыш.

Вечер был как вечер. Мама постирала белье. Магрифа сварила просяную кашу. Мы поели, спать еще было рано, и мама и сестры, облокотившись на подушки, принялись за свою обычную беседу — когда кончится война, когда отец и зять Зиятбай вернутся с фронта. Камал спал, положив голову на колени Магрифы, меня тоже охватила дрема. Откуда-то, уже издалека, доносились до меня голоса. Но вдруг голоса эти стали громкими, взволнованными — что-то происходило вокруг меня, но сил поднять голову и узнать, в чем дело, уже не было.

И вдруг кто-то наступил мне на ногу. Я вскинулся от боли, но все еще не мог понять — где я, что со мной.

Наконец шум во дворе окончательно привел меня в чувство, я отбросил одеяло, которым меня уже успели укрыть, и подошел к двери айвана.

Мне представилась странная картина. Мама и старшие сестры как-то совершенно бессмысленно сновали по двору, они хватались то за самовар, то тащили котел к очагу и вдруг бросали его на полдороге, то принимались рассматривать дастархан, громко крича при этом, что для такого случая подобный дастархан не годится. Если им падал под ноги проснувшийся и крутившийся тут же Камал, они шлепали его и требовали, чтобы он им не мешал, не связывал руки. Такого смятения еще не бывало в нашем доме. Я стоял в дверях, не решаясь спуститься во двор, странное чувство охватило меня — мне казалось, что вот-вот что-то должно произойти, случиться. Но что?! Горе, радость? Каких событий ждать?! Я вновь побрел к своей постели, чтобы обдумать все хорошенько, и в это время на айван стремительно вошла Магрифа, приказала:

— Саифа! Веди детей в большую комнату.

Саифа кинулась за Камалом, бросив на бегу:

— Мазифа, веди Анвара, зять приехал.

Мазифа, все еще лежавшая в постели, вскочила так, словно давно ждала именно этой вести, и, крепко сжав мою руку, поволокла за собой.

Большая комната была ярко освещена — фитиль в лампе выкрутили до отказа. Окно было распахнуто настежь, и от свежего вечернего ветерка пламя колебалось, и чудилось, что по комнате ходят волны. Я стоял и ждал появления человека, о котором в нашем доме говорили — герой фронта. Герой! Как же он выглядит? Наверное, такой же здоровый и краснощекий, как батыр из сказки, которого я видел на картинках.

Но вот в дверях показался человек высокого роста, худой, с серым, усталым лицом, сутулившийся так, словно на плечах его была непомерная ноша. Так вот он, наш зять Зиятбай. Непохож на палвана с картинок, но все равно — он герой, ведь он, говорила Магрифа, проливал кровь. А я знал, что такое кровь — попробуй-ка порежь палец! Я во все глаза глядел на героя Зиятбая-ака, а тот прижал к своей груди сына Камала и целовал его, целовал, точно безумный. Я даже испугался — не съест ли он его от радости, и подошел к маме, чтобы сказать ей это, но мама и Магрифа не слышали меня, они плакали и старались не показывать этих слез Зиятбая-ака.

Вдруг я почувствовал, что ноги мои отрываются от земли, — Зиятбай-ака поднял меня высоко вверх, поцеловал в лоб и сказал:

— Молодец, сынок!

Не знаю почему, но в душе моей все растаяло от этой простой ласки и этих простых слов. Может, потому, что исходили они от человека, которого я не раз воображал и который вместе с моим отцом участвовал во всех историях, которые я рассказывал сам себе, прежде чем уснуть!

Зиятбай-ака здоровался со всеми по очереди, обнимался, а я уже не отходил от него, и, как только руки его освобождались от объятий, я крепко брал его за руку. За дастарханом я уселся рядом с зятем Зиятбаем и восторженно смотрел ему в рот. Мама и сестры, тоже будто опьяненные радостью и счастьем, молчали, затруднялись выразить свои чувства. По-моему, в этот момент им было легче взлететь птицей, чем найти те слова, которых достоин был Зиятбай-ака.

Саифа в нашей семье была озорницей и непоседой. И сейчас она оказалась самой решительной.

— Зять! — осмелилась она выразить давно копившуюся в душе нежность. — Мы вас так ждали! Вы насовсем вернулись? Война кончилась?

И тут Магрифу словно прорвало.

— Слава богу! Слава богу! — твердила она, прижимая к себе Камала. — Привелось тебе, сынок, увидеть отца!

И она так же страстно, как только что это делал отец, стала целовать сына.

Камалу, видно, передалось состояние матери, он вдруг кинулся на шею Зиятбая-ака и закричал:

— Мой папочка хороший, он лучше всех!

И тут я увидел на глазах человека, который проливал

кровь, слезы. Но разве могут плакать герои? Почему они плачут — ведь так все здорово, так хорошо?!

— Сынок,— теперь мама нарушила молчание,— так вы вернулись совсем?

Зиятбай опустил голову и долго не отвечал, словно собирался с мыслями. Я видел, как вся напряглась при этом Магрифа,— от ответа мужа зависело ее счастье, ее жизнь.

— Я долго провалялся в госпитале,— сказал наконец Зиятбай-ака.— Лишился двух ребер!

— Ах, эта проклятая пуля! — воскликнула мама.— Лучше бы она убила врага.

— Пуля разве разбирается, где свой, где чужой. Вот покалечило меня малость. Из госпиталя отпустили долечиваться дома, сказали — климат там у вас благодатный.

— Слава богу,— вдруг перебила зятя Зиятбая мама,— господь уберет вас от смерти, пожалел сына, жену вашу.— Она обернулась к Магрифе.— Надо что-нибудь пожертвовать за его спасение. Дай нищему милостыню.

— Непременно дам,— радостно кивнула Магрифа,— обязательно дам.

Воцарилась тишина. По-видимому, теперь зять Зиятбай должен был рассказать о пережитом, а мама и сестры вдоволь послушать его. Камал заснул на руках отца. Я же собирался не пропустить ни слова из того, что скажет Зиятбай-ака. Но меня почему-то покачивало, видно, дрема уже приняла меня в свою колыбель, и вскоре я вместе с зятем Зиятбаем шел в бой бить фашистов, а мама и сестры ждали нашего с ним возвращения.

Утром я проснулся на своем обычном месте на айване, вскочил и побежал к маленькой комнате — там должен был спать Зиятбай-ака. Дверь в комнату была приоткрыта, и я увидел, как сестра Магрифа осторожно снимает с сидящего на постели Зиятбая-ака рубашку, затем она убрала бинты.

При виде открывшейся картины, я задрожал, у меня даже низ живота похолодел, слишком все это было болезненно. Рана на левой части груди Зиятбая-ака была темно-красной, какой-то дымящейся, из раны по груди стекал гной.

Магрифа легонько прикоснулась к ране, и Зиятбай-ака вскрикнул.

Я невольно схватился за грудь, словно меня полоснули ножом. Затошнило. Я зашел в большую комнату и бросился на курпачу. Если мне больно смотреть на эту рану, то

как же переносит ее Зиятбай-ака?! Теперь мне стало понятно, как проливал кровь наш зять, она текла у него вот из этой страшной раны. И я сквозь тошноту, душившую меня, выкрикнул слова, часто повторяемые мамой: «Будь ты проклята, война!»

В эту осень печальный шорох листьев был похож на мои тревоги, а кружение первых снежинок — на мои надежды. Я ждал возвращения отца.

РОДИНА

Дом наш с возвращением Зиятбая-ака обрел прежний смысл. И мама, и особенно Магрифа ходили с посветлевшими лицами. Магрифа предупреждала каждое желание Зиятбая-ака, вечером готова была часами смотреть ему в рот и слушать до утра.

А Зиятбай-ака день ото дня становился другим. Исчезла сутулость, серый цвет лица, глаза стали ясными. Но вот радости на его лице я не видел, хотя и слышал то мамини, то сестры Магрифы восклицания: «Слава богу, он поправился!»

И правда, как-то я забежал вслед за Камалом в маленькую комнату и опять увидел Зиятбая-ака без рубашки. На месте красной воспаленной раны был четкий ярко-розовый рубец. Рана закрылась — и зарубцевалась. Улыбающаяся Магрифа осторожно проводила кончиками пальцев по ране — она сделала все возможное и спасла Зиятбая-ака от боли и мук.

Он, мы знали, долго добирался из госпиталя домой, в дороге не уберегся, застудил еще не совсем зажившую рану и приехал в кишлак больным и растерянным: ему не хотелось быть обузой для семьи. Магрифа взялась сама лечить своего мужа. Она обошла не только наш кишлак, но и соседние — собирала голубиный помет, рвала возле родника за Кызылсаем мяту. Мама растирала в ступе мяту и голубиный помет. Затем добавляли туда жженный лук и приготавливали мазь. Промывали рану настойкой на травах и накладывали мазь. И вот настал день, когда Зиятбай-ака назвал мою старшую сестру спасительницей.

— Я бы не успокоилась, пока не вылечила вас, — Магрифа прижалась к Зиятбаю. — И знаете, Камал!... — Когда

¹ В узбекской семье жена обращается к мужу, называя его именем старшего сына.

молила бога избавить вас от мук, думала вот о нем.— И она показала на бегящего беспечно сына.

Зиятбай-ака выздоровел, и разговоры в доме пошли иные. Магрифа то и дело заводила речь о работе.

— Теперь вместе будем ходить в поле, станете бригадиром,— она с надеждой смотрела в глаза Зиятбаю-ака.

— У вас есть бригадир,— отшучивался Зиятбай-ака.

— Это кто бригадир? Артыкбай-вор? Бездельник он, а не бригадир,— злилась Магрифа.

Но странно, Зиятбай-ака не спешил успокоить Магрифу. Не спешил на работу. А вскоре и вовсе удивил меня.

Однажды утром, когда мама готовила завтрак, а я, проснувшись, все еще, ленясь вставать, лежал на курпаче, в комнату вошел зять Зиятбай. Он присел у хонтахты и вздохнул.

— Что, зять, проголодались?

Мама накрыла хонтахту дастарханом и показала Зиятбаю-ака на почетное место.

Но Зиятбай-ака покачал головой и опять вздохнул. Мама посмотрела внимательно на зятя и, видимо, догадалась, что тот хочет поговорить о чем-то важном.

— А ну, Анвар, вставай-ка, иди на улицу, поиграй,— мама легонько шлепнула меня по мягкому месту.

— Не пойду,— сказал я, вскочил и прижался к Зиятбаю-ака. Он понял, что я жду его поддержки, и прижал к себе.

Мама махнула на меня рукой и вопросительно посмотрела на зятя.

А герой войны все молчал, и я подумал, что он чего-то боится. Я дернул его за рукав, дескать, я с тобой, можешь рассчитывать на мою поддержку.

И тогда он тихо сказал:

— Мама, вы, только вы поймете меня. Не говорите пока ничего Магрифе, но я должен вернуться туда! — Он не произнес слова — «война», но мы его ясно услышали. Туда — на войну!

Мама замахала руками.

— Что ты, что ты, сынок! И слышать не хотим об этом!

— Я должен,— тихо, но так убежденно, что у меня мороз пошел по коже, повторил зять.

Ноги, видно, не держали маму, она опустилась на курпачу и молча уставилась на Зиятбая-ака. «Сыночек! Я не могу понять, почему вы должны вернуться туда, где течет кровь. И не хочу понимать. Если дочь останется вдовой,

а внук без отца, можно ли будет это понять?» — говорил ее взгляд. Я повернулся к зятю Зиятбаю, заглянул ему в лицо — оно выражало решительность и растерянность одновременно. Его глаза словно отвечали на немой вопрос мамы: «Что же делать, у меня нет другого выхода, матушка! Сначала надо уничтожить врага. Пока враг топчет нашу землю, не можем мы быть счастливы».

— Я-то пойму, — сказала наконец мама жалобно. — Магрифе трудно объяснить. Вы посмотрите, как она сияет, точно луна полная. И во сне, и наяву от счастья смеется. Как же убить ее радость?!

— Мамочка, — Зиятбай-ака от волнения так сжал мое плечо, что я чуть не вскрикнул, — скроем от Магрифы. Если узнает потом, ничего уж не сможет сделать. Скажете, что я поехал в район для оформления документов.

Мама сидела, покачивая головой, словно бы кивая своим горьким мыслям.

— Анвар, — обратилась она ко мне, — позови Магрифу.

Зять Зиятбай, опередив меня, ушел в маленькую комнату. Видимо, у него не хватило мужества глядеть в глаза Магрифе.

Когда Магрифа зашла в дом, мама спокойно сказала:

— Постирай одежду мужа, он собирается съездить в район, чтобы оформить документы. Пусть скорее оформляет, пора уже и к работе приступить. — Мама сразу залилась краской, она не умела лгать.

— В район оформлять документы? — переспросила Магрифа, и взгляд ее стал настороженным.

— Да, в район, — подтвердила мама, пряча глаза.

Магрифа, однако, слишком хорошо знала маму, чтобы не понять, что та от нее пытается что-то скрыть. Но и на расспросы не решалась — уж лучше тревожные предчувствия, лучше сомнения, а с ними и хоть какая-то надежда. Чем правда. Ведь правда сейчас может быть только жестокой. Так, может, лучше не знать ее.

На другой день с самого утра зять Зиятбай начал готовиться в дорогу. Магрифа с немим вопросом в глазах наблюдала за мужем. Он старался держаться свободно, пытался шутить, но невольно то взглядом, то жестом выдавал себя. Когда он взял на руки Камала, на глаза его навернулись слезы. Магрифа подскочила к Зиятбаю-ака, отобрала сына и нервно спросила:

— Вы что, прощаетесь с сыном?!

Мама вышла во двор и взяла в руки венник — чтобы

хоть как-то отвлечься, не видеть того, что происходит с ее детьми.

Магрифа, не получив ответа от мужа, выскочила следом за мамой.

В ней, видно, боролись два чувства — желание узнать то, что от нее скрывают, и страх, боязнь услышать весть, что Зиятбай-ака нас вновь покидает.

— Вы что-то от меня скрываете, мама,— в голосе ее была мольба.— Скажите, скажите, зять ваш уезжает?

— В район... В район,— прошептала мама, опуская глаза. Не смогла произнести — «уезжает на фронт».

Магрифа обошла всех нас по очереди, требуя одного — чтобы сказали правду.

— Магри...— сказал зять Зиятбай, и у него перехватило дыхание.— Я отдохнул, поправился. Ты вылечила! Дай бог тебе здоровья! А теперь я должен уехать. Пойми — ради тебя, ради сына, ради всех вас. Я здоров, я мужчина, и мое место там, на фронте. Я должен защищать Родину.

Магрифа вдруг рассмеялась, и мне стало жутко от ее смеха.

— Так, выходит, я сама все дело испортила, слишком быстро вылечила вас? Для чего? Чтобы снова ранили вас, убили?!

В таком состоянии прежде я не видел свою старшую сестру. Всегда ласковая, тихая, сейчас она напоминала разъяренного дива. Она подскочила к Саифе и начала ее трясти, точно яблоню.

— Рыжая ведьма, ты знала и помалкивала?

— Почему ругаешь меня? — Саифа хотела обнять сестру, но та вырвалась и в следующую минуту схватила за руку меня.

— А ты, сопливый? Тоже с ними заодно?!

Магрифа металась от одного к другому так, словно в нее вселился шайтан.

— Магрифа, успокойся, доченька,— стала уговаривать, умолять ее мама.— У других тоже мужья на фронте. Пока не кончится война, ни тебе ни нам не будет покоя. Говорят, война скоро кончится. Дождемся зятя нашего.

Но Магрифа, похоже, ничего не слышала.

Бормоча проклятья, она принялась что-то искать и наконец подняла топор, что лежал возле кухни. «Вот теперь, наверно, всех нас зарубит», — ударила мне в голову мысль, и я в отчаянье приник к маме. Саифа и Мазифа отскочили

к калитке. Но Магрифа направилась прямо к зятю Зиятбаю.

— Зарублю! — закричала она пронзительно. — Вы слышите? Зарублю, но не отпущу. Думала, вместе в поле будем ходить, думала, отец у Камала будет!

Зиятбай-ака схватил Магрифу за руку, отбросил в сторону топор и обнял ее дрожащую, разом поникшую, рыдающую.

Я не знал, что и думать. Неужели горе может лишить человека разума? Ведь у Магрифы глаза действительно горели, как у дива!

Тем временем пришли соседи.

— Что случилось, кто кричал? — испуганно спрашивали они.

— Ничего не случилось, Зиятбай уезжает, — только и ответила мама, и соседи понесли эту горькую весть по кишлаку.

Зять Зиятбай собрал вещмешок, закинул его за спину, и мы пошли его провожать. Возле колхозной конторы стояла машина, возившая в район пшеницу, шофер согласился подбросить Зиятбая-ака. Когда машина тронулась, улицу огласил вопль Магрифы:

— Зиятбай-ака, возвращайтесь!

И было в этом нечеловеческом крике предчувствие — не вернется он никогда.

А я смотрел на пыльную дорогу, уносившую зятя, и думал о том, что такое Родина. Ведь Зиятбай-ака сказал: должен защищать нас, наш дом, Родину!

НОВАЯ СЕСТРА

На наших саманных крышах уже зеленела пригретая весенним солнцем нежная травка, но за домами, в тени, снег еще не успел растаять. И странное чувство охватывало при виде этой картины — зелень травы и серый, увядающий снег.

Из района принесли в кишлак слух, что войне скоро конец. Соседи, веря и не веря этому слуху, в ожидании новых вестей заглядывали друг другу в рот. Старики и старухи днями просиживали возле калиток.

Пахло весной и ожидаемой радостью.

Помню, день был теплый, но дождливый. С поля работники вернулись раньше обычного. Но маме не сиделось дома, новые слухи пошли по кишлаку — о детях-сиротах,

и она поспешила в колхозную контору, узнать что к чему. Вернулась скоро — задумчивая и в то же время взволнованная.

Магрифа подметала двор, мы бегали тут же. Мама громко, так, чтобы слышала Магрифа, сказала:

— В Паркент привезли детей, потерявших родителей, к нам в кишлак тоже собираются прислать, — и села на ступеньку айвана.

Магрифа, видимо, не поняла маминого намерения — узнать, согласна ли ее семья взять на воспитание какого-нибудь ребенка.

Она даже интереса никакого не проявила, продолжая махать веником.

— Бедные дети, — зашла мама с другой стороны, — не изведась сполна родительской ласки, в чьи руки попадут они? И разве сможет кто-нибудь заменить им отца с матерью?

Я с волнением прислушался к маминым словам, мне показалось, что она что-то задумала.

Не прошло и нескольких дней, как слух действительно подтвердился. В кишлак привезли детей-сирот. Как-то утром мама ушла в колхозную контору, а ближе к обеду вернулась, ведя за руку рыжую девочку лет десяти. Ростом девочка была чуть выше Мазифы, лицо в веснушках, а глаза голубые-голубые. Но больше всего нас поразили ее волосы — рыжие, коротко остриженные. Нам никогда не приходилось видеть таких волос — в кишлаке все девочки были с косами.

Незнакомка стояла посреди двора и смотрела на нас отчужденно. Мы окружили ее, не скрывая любопытства, и тогда она попыталась улыбнуться, но улыбка получилась какая-то невеселая, а в глазах появились слезы. Эта девочка пришла в наш дом с надеждой, и взгляд ее будто спрашивал нас: ну как, могу я быть вам сестрой?

Саифа осторожно приблизилась к девочке и погладила ее пушистые рыжие волосы. Девочка улыбнулась уже более доверчиво, и тогда Магрифа отважилась прижать ее к груди.

Наблюдавшая за нами мама облегченно вздохнула. Она положила руку на плечо девочке и стала знакомить ее с нами.

— Это твоя сестра Магрифа, это Саифа, вот сестренка Мазифа. Этот головастый — твой братишка Анвар, а этот сопливый — племянник Камал.

Девочка внимательно следила за маминым пальцем, указывавшим на нас. Глаза ее опять наполнились слезами, и она, глотая их, проговорила:

— А меня зовут Санния! — и расплакалась.

— Ну хватит, хватит. — Мама, прижала голову девочки к груди, погладила по лицу, поцеловала в глаза. — Теперь ты — наша.

— Как, как тебя зовут, Санния? — переспросила Саифа и вдруг рассмеялась: — Да это же похоже на Саифу.

— Похоже, — согласилась Магрифа, — да только трудновато произносить — Санния!

— Действительно, трудно, — сказала и мама. — Я дам тебе узбекское имя. Не обижайся, ладно? Ведь теперь ты стала моей дочерью. Какое же тебе дать имя, а? Назовем-ка тебя Рихси¹!

Это имя нам всем понравилось.

— Рихси-апа, — произнес я нараспев и, чтобы показать, что мне понравились и имя, и сама девочка, так же, как и Саифа, погладил необыкновенные рыжие волосы.

Девочка радостно повернулась ко мне, и мне показалось, что она хочет меня поцеловать, но мамин голос отвлек ее, и мой порыв остался незамеченным.

— Рихси, доченька, — сказала мама, — ты, наверное, проголодалась, а ну пойдем в дом, сестры, братишки твои сыты, только что ели хлеб. А теперь и ты поешь.

«Только что ели. А не перепутала ли что-то мама?» Да у нас при одном этом слове «хлеб» потекли слюнки. Мама повела Рихси в дом и, усадив на курпачу, достала из плетеной корзины кукурузную лепешку, отломил большой кусок и протянула девочке. Рихси погладила пальцами края и жадно откусила. Мы вновь окружили девочку, только теперь смотрели не на нее, а на лепешку.

Маленький Камал не выдержал и жалобно попросил:

— И мне, мне тоже...

— На, — сказала Рихси и протянула оставшуюся часть лепешки.

Камал поспешно выхватил кусок из рук девочки.

— Эй, так нехорошо, — сказала мама и ласково шлепнула Камала. — Рихси пока гостя. Приехала издалека, проголодалась, пусть сама ест. А тебе я дам другую лепешку.

¹ Рихси — судьба, доля.

— Не надо другую, я эту хочу,— заупрямился Камал и сунул поскорее лепешку в рот.

Мама вздохнула и достала другую часть лепешки, и опять мы внимательно следили за тем, как девочка ест.

Рихси сидела на почетном месте, поджав ноги, как принцесса из сказки, да и кусок лепешки у нее в руках был просто сказочным.

Рихси поела и сидела теперь, улыбаясь и разглядывая нас всех по очереди. Мама вышла из комнаты, и мы почувствовали себя как-то неловко, не знали, что говорить, что делать с новой нашей сестрой. И опять Саифа оказалась самой догадливой — она достала из коробки, стоявшей в нише, разных кукол, сделанных из тоненьких палочек и разложила перед гостьей. Рихси, взяв в руки одну из кукол, сморщила нос и сказала:

— Похожа на кишлячных девчонок, в детдоме нам давали красивых кукол.

— Что ты сказала? — спросила удивленно Саифа. — «Детум»? Кто это?

— Ой, вот это да? — пришла очередь удивиться Рихси. — Не детум, а детдом. И детдом не человек.

— А что же тогда? — вновь спросила Саифа.

— Дом, где живут сироты, — ответила Рихси.

Магрифа засмеялась над промахом Саифы, а та смутилась и пробормотала:

— Да знала я, просто шутя так сказала.

В этот день на ужин сварили просяную похлебку. Первой налили Рихси, и мы, младшие, следили за тем, как ест городская девочка — как черпает ложкой из касы, как подносит ко рту, все в ней казалось необычным, мы как будто ждали от нее чего-то сверхъестественного. Но нет, вроде бы все, как у нас, и ложкой так же точно черпает. Она такая же, как мы, и это нас успокоило, даже захотелось как-то дать ей понять, что мы окончательно принимаем ее в свое сердце. Не зная, как иначе это сделать, мы каждый дали ей из своей касы по ложке просяной похлебки.

Когда дастархан убрали, мама зажгла лампу, усадила девочку рядом с собой и ласково спросила:

— Доченька, тебе понравились сестры, братишки?

Девочка молча кивнула и обвела всех благодарным взглядом.

Довольная мама продолжала расспросы:

— Рихси, а где же ты жила раньше?

Рихси сразу вся как-то сжалась, глаза ее стали серьез-

ными, как у взрослой. Она молчала, то ли не зная, что сказать, то ли не решаясь это сделать.

— Рихси, не бойся нас, расскажи,— поддержала маму Магрифа.

— В детдоме,—с трудом выговорила девочка.

— Доченька, милая, а где же ты родилась, где жила до детдома? Нам хочется знать, ведь ты нам теперь не чужая.

— В Крыму,—ответила Рихси и умолкла, а в следующее мгновение она бросилась маме на грудь и зарыдала.

На глазах мамы тоже показались слезы, она нежно прижала к себе девочку и стала гладить ее по голове, по спине.

С тех пор никто из нас не спрашивал Рихси, откуда она приехала. Мама объяснила нам, что девочка перенесла большое горе и не в силах о нем вспоминать.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОЛЕ

Каждый год прихода весны я ждал так же, как возвращения с фронта отца и зятя Зиятбая,—с нетерпением и трепетом. Цепляясь за мамины руки, хватаясь за подол, просил взять меня в поле. Мне казалось, что где-то там, в «далеком» поле, так же таинственно и сказочно, как в райском саду. Мама не поддавалась на мои мольбы, говорила, что сыро еще в поле, грязно, то пугала каракуртом, то солнечным ударом. И чем больше мне отказывали в этом путешествии, тем сильнее я жаждал там побывать. «Мал еще»,—как-то сказала Магрифа, и я молча переживал эту обиду.

И вот опять ласточки на стремительных крыльях принесли в наш двор весну. И опять вспыхнуло во мне желание отправиться в поле. Когда вечером я вцепился маме в подол, она улыбнулась, сразу догадавшись, о чем собираюсь ее просить.

— Ладно,—согласилась она.—Завтра пойдешь с нами.

Я взбрыкнул, точно жеребенок, и с громким криком пронесся по двору. Завтра! Завтра наконец-то я увижу поле, куда ходит работать весь наш кишлак. А ночью мне приснилось, будто лежит передо мной зеленое поле, а там холмы и ложбины, которые надо облазить, долгогривые кони, с которыми надо поиграть. Но главное—надо помочь маме. Я отбираю у согбенной мамы, на лице которой высту-

пил пот, кетмень и вскапываю землю. И нет ничего прекраснее этого занятия...

После утреннего чая мама спросила меня:

— Ну как, Анварджан, пойдешь набивать первые мозоли?!

Я кивнул, некогда было долго разговаривать, по улице народ уже шел на работу. Мама и сестры вскинули на плечи кетмени и вышли за калитку; едва успев накинуть старенький засаленный халат, прямо босиком, я бросился за ними. И удивился — то из одного, то из другого двора выскакивали мальчишки. Первым я увидел своего двоюродного брата Миравлода — любителя подражаться по поводу и без повода, вскоре к нам присоединился Исамигдин — наш дальний родственник по отцу, затем к нам подсочили Абдурасул-худой и, от незначительной шутки смеявшийся до упаду, от незначительного толчка обижавшийся, — Турдибай. Турдибай был моим ровесником и жил недалеко, поэтому ему больше, чем другим, яверял свои тайны. Мы, встретившись, обнялись и так в обнимку и отправились впервые в поле. Мальчишки постарше глядели на нашу с Турдибаем радость снисходительно. Но от этого радость не становилась меньше.

Наши крики разносились над кишлаком, над весенними просторами, и даже птицы приумолкли, прислушиваясь к нашим голосам. Увидев сай, мы наперегонки устремились к нему и замерли — речушка была хоть и мелкая, но очень бурная из-за весеннего паводка. Мы видели, как сильный поток ташил и перекачивал камни. Над речушкой голубой дымкой стоял туман.

Пока все взрослые не собрались на берегу, мы успели набегаться по изумрудной траве, обжигая босые ноги утренней росой. Но вот началась переправа — женщины подняли платья выше колен, закатали детям штанины и, взяв крепко за руки мальчишек помладше, вошли в воду. Я смотрел не столько на несущуюся куда-то воду, сколько на маму — но нет, ее лицо оставалось спокойным: значит, нас не снесет.

За речкой мы пошли уже не главной утрамбованной дорогой, а широкой тропой. Земля на ней была разбухшей от дождя, босые ноги то и дело разъезжались и скользили. Но зато как здорово было вокруг, трава такая зеленая и пушистая, что хотелось броситься на нее и валяться. Но здесь росло много подснежников, и мы боялись повредить их. Я сорвал первый свой подснежник и долго

рассматривал его хрупкую красоту, пытаюсь понять, почему люди при слове «подснежник» улыбаются. Я поспешил к маме, протянул ей один-единственный цветок и увидел, как засветились ее глаза, какой нежной стала улыбка.

— Мальчик мой,— сказала она,— пусть душа твоя всегда будет такой прекрасной, как этот подснежник.

Наконец-то показалось поле, где шли весенние работы. Надо было перейти по мостку через довольно глубокий арык, чтобы оказаться там, на черной, ждущей зерен земле.

Взрослые приступили к работе, а мы, облазив сначала камыши, что росли на берегу арыка, побежали к высокому холму, Чарлаку, тому самому, что был виден из окна нашего дома, именно холмом Чарлак любовался я в зимние долгие вечера, лежа у сандала! И вот он, рядом, как же не вскарабкаться на него, не подняться на вершину.

Почти бегом побежал я вверх по тропинке вслед за ребятами, но вскоре понял, что взобраться туда не так-то просто. Тропинка была крутой, скользкой от ночного дождя. Все руки и ноги ободрал, пока не достиг вершины.

И замер от восторга. У меня даже голова закружилась. Как высоко, оказывается, мы поднялись. И как странно чувствовать себя почти на небе. И кружится голова — не то от высоты, не то от чувств, переполнивших душу.

Миравлод, Турдибай и Абдурасул собирали разные травы, хвастались, показывая их друг другу. Звали меня. Но я, не замечая ни друзей, ни их лекарственных трав, не мог оторвать взгляда от гряды белоголовых гор, напоминавших диковинных верблюдов. Они казались гордыми и даже грозными, и потому простершаяся у подножия долина на фоне их выглядела радостной и приветливой. Хотелось немедленно спуститься с холма и побежать туда, в долину, которая непременно должна быть сказочной, — так заманчивы ее леса, так призывен серебряный блеск Кызыл-сая, спускающегося с гор и бегущего в сторону нашего кишлака. А кишлак и не узнать. Отсюда не видно было его грязных узких улиц, отсюда были только видны крыши домов да зеленые купы деревьев, и казался он таким уютным, приветливым, ждущим своих жителей с полей.

Долго глядел я на родной кишлак и очень обрадовался, когда отыскал мечеть средней и верхней махалли и школу. Там, недалеко от школы, я подумал, наш дом, но он не виден, его закрывают разросшиеся на улице тополя. И вдруг я подумал, что уже откуда-то знаю эту картину:

великие горы с горбами, на каждом из которых по белой шапке, стремительно несущийся между скал поток, превращающийся постепенно в могучую и священную реку, мирное селенье, утопающее в райских садах! Да ведь это мама не раз описывала подобную картину в своих сказках. Так вот где она видела райские кущи, отсюда, с холма Чарлак! И я заплакал. Не знаю отчего. Оттого, что сказки мамы оказались вовсе и не сказками, или оттого, что красота, открывшаяся мне, не могла сравниться ни с какой сказкой.

Потом, повзрослев, я часто вспоминал те противоречивые чувства, что охватили меня на холме, и понял, что тогда душа моя впервые приняла в себя образ отчего края, священную часть великого образа Советской Родины, за которую ушел воевать Зиятбай-ака. Дороги Родины впервые начались за порогом родного дома, через мой родной кишлак провели меня по земле с дорогим именем — «Узбекистан» и закончились на огромном пространстве — нмя которому Страна Советов. Но это осознание придет позже, а пока я стоял на вершине, откуда был виден мой кишлак.

ИГРА

Я стремительно сбежал с холма Чарлак в ложбину, где уже давно играли ребята. Все, конечно, позабыли, как наперебой обещали своим мамам помогать, да те и рады были, что дети играют, не путаются под ногами, не мешают.

На берегу арыка Исамитдин, собрав вокруг себя Миравлода, Турдибая, Абдурасула и других мальчишек, горячась, что-то разъяснял им. Они слушали раскрыв рты, кивали, если соглашались с ним.

— Где ты ходишь? — спросил Исамитдин, увидев меня. — Ну и разиня. Вечно ты отстаешь. Звали тебя, а ты даже не оглянулся. Будешь с нами играть?

— Что за игра? — спросил я.

— В «войну», — важно объяснил Исамитдин. — Я буду генералом. Вы разделитесь на два лагеря, будете вести бой друг против друга, «наши» против «врагов». Тот, кто найдет хорошую толстую палку, пусть несет сюда — делаем ружья. Но прежде надо вырыть окоп.

— Что такое «окоп»? — спросил Турдибай, сморщив лоб.

— Окоп... Окоп...— забормотал не очень уверенно Исамитдин и, пожав плечами, сказал:— Окоп... наверное, яма такая. Да вам-то не все равно, что ли? Делайте то, что скажет генерал, и все. Ладно, не будем копать яму. Лучше станем прятаться под обрывом.

— Где ты научился «войне»?— спросил неожиданно Абдурасул, чувствовалось, что ему обидно, что не он первый узнал про такую игру.

— Вчера ходил в верхнюю махаллю, к тете,— гордо улыбаясь, охотно стал объяснять наш «генерал»,— ребята там уже всюю играют. Меня взяли при условии, что буду «врагом». Побили меня здорово, как будто это не я, а на самом деле — враг. Давайте научимся играть и пойдем завтра в верхнюю махаллю, всех ребят возьмем в плен. Чтобы больше не хвастались передо мной. Ведь должен же я им отомстить. Ну, кто будут «наши», а кто — «враги»?

«Генерал» выжидающе смотрел на нас — своих солдат, но никто не издал ни звука.

Тогда «генерал» повернулся ко мне.

— Анвар, ты будешь главным «врагом»,— сказал он решительно,— набирай себе солдат.

— Иди ты,— сказал я, подтягивая штаны. И подумал: «Я, как отец, как Зиятбай-ака, буду бить врагов. Никогда не стану врагом!»

— А ты?— повернулся Исамитдин в сторону Миравлода.

— Почему я должен быть «врагом»?— удивился Миравлод.— Неужели хуже других?

— Ладно, сделаем Турдибая «врагом»,— сказал «генерал», но уверенности в его голосе не было. Он уже понял — все хотят быть «нашими».

— Не буду,— пробурчал и Турдибай, шмыгая носом.— Враг — плохой человек, друзья потом станут меня дразнить.

Абдурасул уже заранее замотал головой — дескать, меня можешь и не спрашивать.

«Генерал» минуту стоял в раздумье, такого оборота дела он не ожидал. А как же верхнемахаллинские, как взять их в плен, если его армия «ничему не обучена». И он сделал последнюю попытку.

— Давайте на честность. Будем угадывать, в какой руке камень. Кто укажет на камень, тот и «враг».

Мы молча, сосредоточенно сопя, обдумывали его пред-

ложение. Вот уже несколько лет в кишлаке только и разговору, что о враге, будь он проклят. Сейчас это самое ругательное слово. У Турдибая погиб на войне отец, девочка Рихси вздрагивает, когда ее спрашивают о родителях,— моя мама говорит, что их пожрала война. У соседки нашей Мархамат-апа хранятся в сундуке два «черных письма». И все это — враг сделал. Так как же нам угадывать, в какой руке камень?! Нет, уж лучше все мы будем «наши».

И вдруг Исамитдин хитро улыбнулся и сказал:

— Война скоро кончится, начнут возвращаться в кишлак герои, той каждый день будет. А кто же нас пустит в верхнюю махаллю на плов, если мы не одолеем тамошних мальчишек? Надо взять их в плен, потребовать выкуп, тогда они сами пригласят нас на плов.

Последние слова нам очень понравились, и Миравлод, шмыгнув для порядка носом, сказал, как бы оправдываясь:

— Это же игра? Это неправда.

Мы вновь задумались и решили:

— Ладно, будем «на честность». Кому выпадет, тому и быть «врагом».

— Враг! Враг! — закричали мы, когда Миравлод ударил по руке «генерала», в которой был зажат камень.

Миравлод опустил глаза, чтобы мы не видели его слез. Вторым «врагом» стал Турдибай, побледневший, когда мы выкрикнули это слово ему в лицо.

— Так... Ну-ка, скажите,— важно начал разговор «генерал»,— захватим завтра в плен ребят из верхней махалли?

— Захватим! Еще как захватим!.. — уже бодрее откликнулись и «наши» и «враги».

«Генерал» поднялся на взгорок и развел отряды в отведенные для них места.

— Огонь! — скомандовал он, и хоть никто из нас и не понимал слова «огонь», мы ринулись друг на друга. Так начался бой.

Я, подражая другим, повторял все, что они делали: вставал, падал, «стрелял», ползал, изображал свист пуль.

— Огонь! — кричал наш «генерал». И мы что есть сил воевали.

— Ура! Ура! — вдруг услышали мы победный вопль Абдурасула.— Я взял Турдибая в плен! — Мы побежали в

камышы на крики и увидели Абдурасула, сидящего верхом на Турдибае.

«Наш» молотил кулаками «врага», а тот не сопротивлялся, только голову прикрывал руками.

— Хватит, «наши» — молодцы! Победили! — поднял руку «генерал», тем самым избавляя Турдибая от позора поражения.

Похвала «генерала» переполнила мое сердце радостью, я подбежал к Абдурасулу, оттолкнул его и хотел помочь встать Турдибаю. Но тот не поднимался.

— Устал, больше не буду играть, — ответил Турдибай и, вытянув руки и ноги, развалился в спокойной позе.

— Ах так, — сказал «генерал», — тогда мы прикончим «врага». Абдурасул, ты захватил его в плен, теперь сам и застрели хорошенько.

Абдурасул подбежал и, прицелившись из палки, выстрелил ему в голову. Турдибай дернул руками-ногами и притворился убитым.

— А мне что делать? — спросил, потирая распухший нос, Миравлод и уставился на меня.

— Ты тоже взят в плен как «враг». Да ладно, пока помогай нам, разделаемся вот с этим «подлецом», потом возьмемся за тебя, — решил «генерал».

— Да, но «враг» наш мертв, что же делать с ним теперь? — спросил Абдурасул.

— Похороним, — заявил «генерал», который знал все на свете.

А Турдибай, вытянув руки и ноги, лежал на спине, побледневший, будто и в самом деле мертвый. Вдруг сердцем моим овладел страх. Умер. Убит. Да, да, убит, на войне ведь убивают. А что, если мой отец или дядя Зиятбай-ака вот так же неподвижно лежат где-нибудь там, на далекой войне?! И что сказать матери Турдибая?

Я помнил, как лежала без чувств Мархамат-апа, получив второе «черное письмо». Я в ужасе схватил Турдибая за руку — она была теплой, живой.

— Турдибай! Ты не умер! Неправда, что ты умер! Тебя обманывают! — закричал я.

Турдибай открыл глаза и, будто пробудившийся после долгого сна человек, которому приснился удивительный сон, приятно улыбнулся.

— Не встану, пока «генерал» не позволит, — сказал он и снова закрыл глаза.

А я заплакал. И тут почувствовал на своем плече чью-то мягкую ладонь.

— Сынок, почему ты плачешь?

Это мама пришла посмотреть, чем мы занимаемся, и застала меня в слезах. От ласкового ее голоса, от нежного прикосновения руки меня разобрало еще больше.

— Мама, какое счастье,— выкрикивал я сквозь слезы,— я жив и Турдибай тоже. Ни ты, ни его мама не получите «черного письма»!

ДОРОГА В ТАШКЕНТ

— Чтобы шею сломал себе захватчик! — сказала однажды мама, вернувшись с поля. И швырнула кетмень на землю с такой силой, что черенок его переломился. Много раз твердившая нам, чтобы мы берегли черенок, на этот раз она даже не обернулась.— Соскучилась по матери, братьям. Даже некогда выбраться в город! В кишлаке, хоть собирая колосья, проживешь. А там как? Съезжу в Ташкент.

Мгновенно сестры окружили маму, я с одной, Камал с другой стороны пролезли в середину.

— Мамочка! — сказала Саифа, оттирая локтями назад Магрифу с Мазифой и придавая лицу самое смиренное выражение.— Я тоже очень соскучилась по бабушке, возьмите меня с собой.

— Мама! — смущенно обратилась Магрифа, решительно перебив Саифу.— Уже несколько ночей подряд снятся мне бабушка и дяди, я просто не говорила вам.

Мама нахмурилась.

— Я думала, что ты умная, выходит — нет. Постыдись! Взрослая женщина,— сказала она нашей сестре.

Магрифа опустила голову. Мама повернулась к Мазифе.

Мазифа застыла, не зная, что делать, что сказать, умоляюще глядя на маму и с завистью на сестер, будто они уже получили разрешение ехать в Ташкент, и в то же время улыбалась с надеждой, словно хотела сказать: было бы хорошо, если бы вы и меня взяли с собой.

— Мама, возьмите меня! — попросила вдруг и Рихси, тряхнув рыжими волосами, и обняла маму.

— Милая моя доченька,— мама погладила по голове Рихси,— кого же еще возьму, как не тебя. Но только не теперь. Вот приедет отец с фронта, тогда. А сейчас я уеду—

малыши заскучают, ты будешь с ними играть. Они тебя любят, слушаются.

Рихси оглядела Мазифу, Камала и хотела что-то сказать, но мамина похвала, видимо, подействовала, она не решилась возражать.

— Мама! — решила Саифа вновь привлечь к себе внимание. Она даже руки в бока уперла. — Если не возьмете, не буду двор подметать и на работу не выйду. — Саифа резко повернулась, пошла и села на ступеньку айвана. Уже оттуда крикнула: — Знаю, вот тот головастый поедет!

— Тебе самой будет хуже — не подметай и на работу не выходи, — сказала мама. — Выдам тебя замуж, пусть муж с тобой разбирается...

— Не сможете замуж выдать, — болтая ногами будто в воде, усмехнулась Саифа. — Парни-то все на фронте.

Мама рассмеялась:

— Ну и язык у тебя. С тобой не то что человек, сам бог не справится. Ты и мужа-то заставишь плакать!

Я решил, что пора и мне обратиться к маме, которая устало опустила на сури¹.

Я крепко обнял маму за шею, потерся носом о щеку. Мама отстранила меня легонько и улыбнулась. И я чуть не закричал — «ура». Такая улыбка несомненно была знаком согласия. Не знаю, что больше повлияло на ее решение: то, что она знала, как упорно я могу цепляться за подол, чтобы добиться своего, или то, что я после Эркина остался ее единственным сыном и она любовь, не растраченную на него, переносила на меня.

— Пусть Анвар поедет, — сказала мама, — единственный ваш братишка, — мама хлопнула меня тяжелой натруженной рукой по спине и поцеловала в лоб. — Ах ты мой сладкий! Слаще всех.

Итак, мы с мамой должны ехать в Ташкент — к бабушке и дядям.

Вероятно, это было в пятницу, потому что слышал, как мама говорила, что завтра суббота. В этот день вечером мама постирала белье, затем, провозившись до полуночи, нажарила слоеных лепешек в котле, а на другой день положила в бязевый мешок толочно и оставшийся с незамятных времен курт². Гостинцы были готовы.

— Шарафат, — попросила мама свою двоюродную сест-

¹ Сури — деревянный настил во дворе.

² Курт — сушеный соленый tvorog.

ру перед отъездом,— ради бога, присмотрите за моими детьми, я вернусь через два-три дня.

— Не беспокойтесь,— ответила теть Шарафат со слезами на глазах.— Передайте привет тете Улуг, братьям.

Мы пустились в путь. Мама словно с нетерпением ждала этого мига, она зашагала стремительно, я же, держась за ее руку, то шел, то бежал, успевая, однако, похвастаться ребятам, попадавшимися навстречу: «В Ташкент; к бабушке еду».

Наконец, когда солнце поднялось над вершинами гор, мы, оставив кишлак позади, вышли на тропинку. Она шла на север, петляла, то поднимаясь на холмы, то опускаясь в долины. Когда мы миновали очередной холм Карамон и спустились к саю Атчапар, мама, видя, что я притомился и замолчал, решила развлечь меня рассказами, и я в который раз услышал о том, как отец кончил «большую школу» в Самарканде, как затем был послан в район на работу, отличился и ездил в Москву, где получил орден из рук самого Калинина. По возвращении домой папу вышел встречать весь кишлак. Затем пришла очередь Зиятбаяака, и он был замечательным человеком. Когда мама рассказывала, она увлекалась, и лицо ее то светлело, улыбка преображала его, то вдруг покрывалось печалью, глаза туманила грусть. Все эти истории мама рассказывала уже не раз, но я слушал раскрыв рот, не думая о том, что этим мама хочет отвлечь меня от мыслей об усталости и хлебе. К полудню мы дошли до казахского кишлака Самсарак. И мама сказала, что теперь до автобуса уже рукой подать. Мы миновали еще два холма, и перед нами раскинулись сады и дома, окруженные добротными дувалами. Это был большой кишлак Паркент. Когда мы вступили на его зеленые улицы, солнце уже стояло в зените. Паркент раскинулся по обеим сторонам большого сая, между двух холмов, он мне очень понравился, я бы с удовольствием побегал здесь, но у нас была цель — Ташкент. А мама шла так же быстро, не уставая и не отдыхая, и я взмолился:

— Отдохнем, есть хочу.

— Ладно,— согласилась мама,— у меня тоже кишки урчат,— и потащила меня в сторону.

Мы сели возле чьего-то тенистого дувала. Мама достала из мешка слоеную лепешку, бутылку воды. Поели. И пошли дальше, искать «остановку». Что это такое, я не знал и ждал встречи с «остановкой» с нетерпением и не-

которым страхом. Дойдя до ивы на берегу узенького арыка, мы остановились. Под ивой, прямо на земле, сидели несколько стариков и старух, а возле них играли дети. Здесь и была, сказала мама, «остановка». Но где она? Я ничего не понимал.

— Тетушка,— обратилась мама к плосколицей старухе, которая сидела, прислонясь к иве,— куда вы едете?

— Да в город, дочка,— сказала старуха, перекатывая зерна семечек между двумя сохранившимися на нижних и верхних деснах желтыми зубами.— Ждем хафтобус.

С восточной стороны с грохотом приближалась машина, большая, неуклюжая, непохожая на полуторки, которые я видел у нас в кишлаке. Машина остановилась напротив нас, подняв столб пыли. Из машины вылез большеголовый мужчина лет сорока. Вид его сильно меня разочаровал, не думал, что у шофера автобуса халат может быть порван. Единственное, что мне в нем понравилось, так это усы.

Мама потащила меня к автобусу, но для этого надо было перейти арык. Мы бросились к мостку, но там скопилось уже много людей.

Мама стала расталкивать всех, то и дело дергая меня за руку. Я запнулся за чьи-то ноги и упал, но мама, не смотря на мои стоны, все тянула за руку, и я, боясь отстать, пробирался за ней.

Наконец мама оказалась возле усатого мужчины.

— Братец, куда едет ваш хафтобус?

— Куда же ему ехать,— пробурчал усатый,— в город, конечно.

Растолкав стоявших у дверцы людей, мама одной из первых бросила в машину свой мешок, затем втащила меня, и мы рухнули на жесткие сиденья.

— Слава богу, сынок,— сказала мама,— мы сели в хафтобус. А все почему? Потому что твоя мама — сильная. В молодости я участвовала в козлодранье, а разве я не рассказывала тебе, как однажды свалила Артыкбая-вора с коня? Если будешь проявлять слабость, затопчут ногами.

Я, гордясь ловкостью мамы, прижался к ней, но она, легонько отстранив меня, поднялась и стала помогать тем, кто в давке и сумятице пытался протиснуться в дверцу автобуса. Она резко втягивала за руки то старика, то старуху, то ребят и не очень-то любезно плюхала их на деревянные скамейки. Счастливики, попавшие в автобус, сначала охали, держась кто за бок, кто за ушибленную руку,

но затем сознание того, что они все-таки здесь, что они едут в город, заставляло их расплываться в улыбке.

Усатый шофер молча стал обходить пассажиров. Он остановился перед старухой и выразительно посмотрел ей на руки.

— Деньги? — спросила старуха.

— Что же еще, кроме денег? — пробурчал усатый.

— Сколько, милый? — с испугом спросила мама, засунула руку во внутренний карман камзола да так и сидела, вся сжавшись.

— Десять рублей, — сказал усатый и с досадой почесал шею.

— Эй, миленький, постыдись, — сказала старуха, — я не первый раз еду в город. Другой водитель хафтобуса брал по пять рублей.

— Буви!¹ — проворчал усатый. — Езжайте на той машине, где берут пять рублей.

— Нет вести у нынешней молодежи, — разозлилась старуха. — Ладно уж, пожертвую десятку ради внука. Бедный мой внук работал в городе, а теперь должен идти в армию.

Вдруг, указывая на меня, усатый спросил:

— Это чей ребенок?

— Я же говорила, наклонись, — проворчала мама и попыталась пригнуть мне голову, — миленький, это мой сын, очень маленький, даже еще обрезание не делали.

— Плати и за маленького, — сказал усатый, нахмурившись, будто только сейчас подрался с кем-то, но не был удовлетворен результатом драки.

Мама растерянно оглянулась, словно ища поддержки у пассажиров, и снова повернулась к шоферу.

— Неужели за малого ребенка возьмете деньги? — сказала мама тихо и порылась в кармане, видимо, намереваясь дать деньги, если опять будет ругаться, — отец его на фронте проливает кровь, вот везу к бабушке, к дядьям, мои братья работают на больших должностях. Может, и вам смогут быть чем-нибудь полезны.

— Не болтайте много, какое мне дело до того, где они работают. Если не возьму за вашего сына деньги, ваши братья сделают меня председателем колхоза, что ли?

— Поимей совесть, неужели за малого ребенка возьмешь деньги? — вступилась за маму старуха в черном.

¹ Буви — бабушка, бабка.

— Делаешь вам добро, а вы не понимаете этого,— сказал усатый мужчина и, резко повернув, сел за руль.

Мама улыбнулась и подмигнула мне, словно говоря: «Здорово я его провела».

Но пригнуть голову меня все-таки заставила, и пока мы доехали до Куйлюка, шея у меня совершенно задеревенела.

У местечка Куйлюк все вышли из автобуса. Мама, держа меня за руку и прижимая мешок к груди, все тем же решительным шагом направилась к новой остановке. Там ходит по железу трамвай, объяснила она мне.

— Гляди под ноги,— сказала мама,— и не оглядывайся по сторонам, чтобы не заметили, что мы из кишлака. Сейчас придет трамвай, будь осторожен. Он шипит как дракон.

Наказав мне не крутить головой, сама мама беспрестанно озиралась по сторонам, что-то шептала мне в ухо, видно остерегая от городских опасностей, но я ничего не слышал, а если слышал, то не понимал, но кивал головой, соглашаясь.

— Мама! — закричал я, увидев грохочущий дом,двигающийся на меня по железной дороге.

— Не бойся, это трамвай,— сказала мама и подтолкнула меня к дверцам,— только не отпуская мою руку, а то самариска тебе сразу голову оторвет.

Хоть я и не понял слова «самариска», но тут же подумал о драконе и, сильно задрожав, вскарабкался по ступенькам в трамвай. Мама все проталкивала меня вперед. Но впереди стояла плотная стена, и скоро я оказался зажатым плотной массой людей. Кто-то придавил локтем мою голову, кто-то наступил на ногу, третий уперся в живот, однако из боязни, что самариска оторвет мне голову, я стоял не дыша.

Но вот к нам пробралась стриженная голубоглазая девушка и протянула руку. Мама растерянно глянула на нее, затем на окружающих. Стоявшая рядом с нами женщина с локонами сказала маме:

— Сестрица, кондуктор деньги за билет спрашивает.— И добавила, отвернувшись: — Бедняжка, видно, из кишлака.

— Нет, сестрица,— сказала мама,— городские мы, просто задумалась и забыла дать деньги. Живем мы в махалле Ачават, ходили в гости и засиделись.

Не помню, чтобы мама когда-нибудь говорила неправ-

ду. Я подумал: может, мама боится признаться, что она из кишлака, из-за этой ужасной самарски.

Вышли мы на широкой, красивой улице. На столбах горели лампочки, и в окнах больших домов горел свет. Но что меня удивило больше всего, так это обилие на улице машин и людей. И как только все они не сшибались, не сталкивались? После пустых полей, кишлака с глиняными дувалами город заморозил меня. Хотелось кричать или петь, так бывает, когда найдешь то, что потерял.

Я решил, что, когда вырасту, непременно приеду учиться в город. И мне тут же захотелось вернуться в кишлак и рассказать друзьям и сестрам о том, как прекрасен город, прекрасней, чем райский сад у горы Каф.

ЗНАКОМСТВО

— А вот и Чорсу,— с облегчением вздохнула мама.

Мы прошли еще немного и оказались на берегу большой реки, вращавшей чигири¹. Через реку был перекинут высокий мост. Идти по мосту было интересно и немного жутко; когда заглядывал сквозь решетку перил, от бурного течения реки начинала кружиться голова. Уже свечерело, и мама торопилась. Пройдя еще немного по берегу Анхора, мы свернули на узкую улочку, совсем такую, как у нас в кишлаке.

Пропустив две калитки, в третью — высокую, одностворчатую — мама постучалась. Усталые, пыльные, мы с мамой с нетерпением ждали, когда же калитка распахнется перед нами. Но пришлось трижды с силой ударить по резной дверице, прежде чем из глубины двора послышался очень любезный голос.

— Кто там?

Мама посмотрела на меня смущенно и откашлялась:

— Сайфитдин, открой.

Звякнула щеколда, калитка приоткрылась, и на улицу вышел высокий, широкоплечий мужчина. Не успел он и слова сказать, как мама обняла его, прижала к груди, затем отстранила, минуту-другую глядела, словно бы изучая, и поцеловала в лоб.

Недовольное выражение исчезло с лица мужчины, он

¹ Чигирь — приспособление для отвода воды в арык, расположенный на возвышенности.

благодарно позволил маме излить на него нежность, а затем схватил меня, приподнял и расцеловал в щеки.

Это и был мой младший дядя Сайфитдин-ака.

— Ну как, племянник? — сказал он, опуская меня на землю. — Настоящим джигитом стал, да? Решил нас навестить? Как сестры твои поживают? Как там крикунья Санфа?

Я всю дорогу обдумывал и воображал встречу со своими дядями, мысленно готовился к ней, даже готовил слова, которые скажу, но теперь вдруг растерялся и единственное, что смог, — крепко обнять его за шею, когда Сайфитдин-ака оторвал меня от земли. На все же расспросы лишь кивал головой.

— Сайфитдин, — сказала мама, всхлипывая и прикладывая край головного платка к глазам. — Что ж вы такие бессердечные? С тех пор как не стало отца, даже и не подумаете проведать нас. А ведь я ваша единственная сестра...

Мама причитала так жалобно и беспомощно, что показала мне маленькой, и мне захотелось, чтобы ее утешили. И действительно, Сайфитдин-ака погладил ее по плечу, сказал:

— Не плачь, сестра, сами знаете, война, некогда. Ну вы, слава богу, живы-здоровы...

Он ввел нас с мамой во двор, продолжая спрашивать:

— Как там племянницы?

Но, видимо, желание скорее увидеть бабушку, старшего брата оказалось сильнее, вопрос дяди Сайфитдина мама оставила без ответа.

Широкий двор ярко освещала луна, он был сплошь засажен виноградником, плети которого тянулись по стенам дувала. По кирпичной дорожке мы пошли к дому. Дорогу нам преградил низкий дувал, он отделял от двора-сада внутренний дворик, где в разных его концах утопали в зелени два домика с айванами. Как только мы вошли во внутренний дворик, там поднялся настоящий переполох. Поначалу я даже не мог понять, где тут бабушка, а где мамыны снохи.

— Дочка, доченька моя! — сквозь слезы приговаривала маленькая худенькая старушка и нежно обнимала дрожащими руками маму.

И я догадался — вот она, моя бабушка Улуг, мамаина мама. Наконец внимание хозяев переключилось на меня —

я оказался возле пахнувшей травами груди бабушки. Головы моей касались ее маленькие, сухонькие, но такие ласковые ладони. Бабушка отстранила меня, разглядывая, а я в свою очередь с восторгом уставился на нее: белолицая, с теплыми карими глазами и улыбкой, похожей на ласковую усмешку. От бабушки Улуг я перешел в руки высокого худого человека с тонким лицом. Это был мой старший дядя Бурханитдин. Я с удивлением смотрел то на него, то на маму. Как это так, думал я, ведь их просто невозможно отличить друг от друга. Даже улыбаться он умел так же, как мама, — одними глазами. Не успел я ответить на вопрос дяди Бурханитдина о своих старших сестрах, как был притиснут к пышной груди старшей снохи Анар, а затем забарахтался в складках просторного платья сухопарой снохи Мубор.

Снохи успели и нос мне утереть, и рассмотреть мои в дыпках руки, и одна из них отправилась тут же за кислым молоком, чтобы смазать трещины. В маленьком дворике вкусно пахло машхурдой¹, но бабушка заявила, что машхурда отменяется и по случаю дорогих гостей будет приготовлен плов.

За дастарханом все с почтением слушали маму — ее кишлачные новости. Хвалили маму за то, что взяла она на воспитание сироту. Особенно охали и ахали снохи — называли маму добрым ангелом.

А потом разговор незаметно перешел на прошлое.

Мама много рассказывала нам о прошлом, но, оказывается, она и сама не все знала. Например, о том, какие братья были у бабушки Улуг — настоящие палваны. Их было пятеро, потому и род бабушки называли «Пять Мирзы». Ни один род не осмеливался их обидеть, но со временем разбрелись братья по свету, где сейчас — живы ли, нет ли, — кто знает.

Бабушка говорила скороговоркой, то и дело посмеиваясь, сыновья, видимо, хорошо знавшие историю пяти братьев, слушали, однако, с вниманием. Я же прямо-таки в рот бабушке глядел. И не сразу оценил великодушие моих двоюродных братьев и сестры. У дяди Сайфитдина были пятилетняя дочь Муяссар и трехлетний сын Нажмитдин, а у дяди Бурханитдина трехлетний сын Хуснутдин. Пока я был занят пловом и тем, что впитывал разговоры старших, они принесли к моим ногам все имеющиеся у них бо-

¹ М а ш х у р д а — каша из маша с прибавлением рисовой сечки.

гатства — глиняные свистульки, старую, выдавшую виды куклу, блестящий мяч, подпрыгивающий на длинной резинке, несколько крупных пуговиц, тем самым выражая свои родственные чувства. И мы подружились.

После ужина дяди облачились в форму и отправились на службу, оказывается, они работали в пожарной команде и у них как раз было ночное дежурство.

А мы долго еще не ложились. Мама и бабушка все не могли наговориться. Наконец бабушка, словно что-то вспомнив, резво поднялась с курпачи, зашла в комнату и тут же вышла оттуда с узелком в руках.

— Возьми, доченька, для тебя берегла, — сказала она, протягивая узелок маме.

Мама развязала узелок и извлекла из него шелковое белое платье и от удивления или радости прижала его к груди.

— Анаджан, — мама обняла бабушку, но, видимо, и этим не смогла выразить всей благодарности и нежно поцеловала ее. — Я ничего не смогла привезти вам. Бедновато в кишлаке. Здесь, в городе, выходит, легче.

Мама увидела, как при этих ее словах переглянулись снохи, и, смутившись, добавила:

— Скучаю я по вас.

— Я тоже скучаю по тебе, дочка, — грустно проговорила бабушка. Она тоже посмотрела на сидевших с поджатыми губами снох и не сказала, видно, того, что хотела: переезжай-ка, дескать, доченька, сюда. А вместо этого вновь ушла в воспоминания. — Пятнадцать лет уже прошло, как умер твой отец. На днях ходила на его могилу, вернулась расстроенная. Не смогли похоронить его на родовом кладбище...

— А где оно, наше родовое кладбище? — спросила мама.

— Да есть такой уголок на Чорсуйском кладбище, — пояснила бабушка, — ты видела, знаешь. Давно уже там никого не хоронят. Раньше всех арпапайцев хоронили только там. Наши отцы и деды родом из махалли Арпапая. Твоего покойного деда во времена хана Алимкула знал весь Ташкент. Когда Алимкул выступил против войска Черняева, мой отец пожертвовал его джигитам пятьсот баранов. Когда же люди белого царя одолели, твой дед, бросив Ташкент, уехал в кишлак. Видимо, хотел быть в стороне от всякого рода неприятностей. Но и в кишлаке не суждено было нам жить. Проклятый Исмаил незаконно

раскулачил нашу семью. На самом же деле были мы в то время середняками — всего-навсего имели одну корову да паршивого вола. Когда-то твой отец повздорил с Исмаилом, а тот в отместку выгнал нас из дома, он ведь был тогда аксакалом — местной властью. Потом сам въехал в наш дом. А когда разобрались в несправедливости, нас уже в кишлаке не было. Опять перебрались в Ташкент, вот сюда.

Бабушка долго молчала, погруженная в картины прошлого; наконец глаза ее остановились на мне, и она всплеснула руками.

— Анварджан, внучек, чуть не забыла, тебе ведь тоже подарок есть.

Бабушка протянула мне голубую рубашку, и я тоже, подражая маме, обнял бабушку за шею и поцеловал в щеку. И сразу же надел рубашку. Рукава были длинными, да и сама рубашка ниже колен, но это нисколько не убавило моей радости. Хотелось показаться малышам. Я все боялся, что мне сейчас отломают полагающийся кусок лепешки, дадут кусочек сахара, а все остальное спрячут в плетеную корзинку. Но корзинки нигде не было видно, и никто не остановил меня, когда я взялся за второй кусок пшеничной лепешки.

После чая Муяссар повела меня на улицу. На противоположной стороне узенькой улицы, возле калитки, играли какие-то лохматые босоногие дети.

Я с удивлением смотрел на их черные кудрявые головы со спутавшимися волосами, грязную одежду и никак не мог поверить, что здесь, в городе, могут быть такие дети.

Вдруг улочку огласили визг и крики, грязные заморыши, ругаясь самыми бранными словами, принялись валтужить друг друга. Разом распахнулось несколько калиток, оттуда выскочили женщины в ярких цветастых одеждах и, отведывая оплеухи направо и налево, уняли драку.

Успокоившись, дети наконец заметили меня и тут же окружили плотным кольцом. Я улыбнулся, мне хотелось подружиться с городскими детьми, но в ответ на мою улыбку один из них наступил мне на ногу, а другой дернул за волосы. Я испугался, но не смел кричать, звать на помощь мам.

— Уходите, я папе скажу, — пригрозила Муяссар, отталкивая особенно нахальных. — Это сын моей тети. — Потом обернулась ко мне: — Будь осторожен, они цыгане. Могут снять с тебя одежду.

— Кишлачный,— сказал один, как мне показалось, самый черный мальчишка.

— Почему он так говорит?

Не успел я расслышать ответа Муяссар, как кто-то вцепился точно клещами мне в плечо, кто-то дал подножку.

— Папа! — закричала Муяссар.

Но голодранцы продолжали кружить возле меня.

— Сгинь, кишлачный, сгинь!

Выбежавшая из дома сноха Мубор, подняв с земли камень, пустила им в ребят.

— А вы сами-то кто, негодники!

Мубор-апа увела меня в дом и сказала, чтобы один я не выходил. Но странное дело, ребята-цыгане так заинтересовали меня, что я не смог долго усидеть во дворе и вновь вышел за калитку.

Улица опустела, только возле дувала сидел большеголовый мальчик с огромными печальными глазами. Увидев меня, он поднялся, постоял немного дичась, затем приблизился ко мне и улыбнулся. И я тоже улыбнулся. Тогда он, смущаясь, положил мне руку на плечо, и мы подружались.

— Ты кишлак? — спросил мальчик, и в его огромных черных глазах отразилось любопытство. Его речь показалась мне какой-то странной. — Ты есть гость? — продолжал мальчик, запинаясь. — Приехал из кишлак? Я цыган, ты узбек, не бойся. Понимал?

— Понимал,— сказал я, подражая мальчику.

— Пойдем наш дом,— мальчик повел меня, держа за локоть. — Моя есть голубь. Как твоя имя, моя имя Бисмат.

— Моя имя Анвар,— сказал я ему, и мне стало смешно.

Мы свернули в какой-то тупичок и вошли во двор без калитки. Во дворе был привязан серый осел, а возле осла стояла арба с приподнятыми вверх оглоблями. В дальнем углу стоял низенький домик, где ворковали, взлетая и опускаясь, голуби. Мальчик подвел меня к голубятне, запустил в «домик» руку и, достав голубя, посадил птицу мне на ладонь. Я никогда прежде не держал в руках голубей, да еще таких красивых, с необычным опереньем.

Я погладил голубя, в приливе восторженных чувств прижал его к лицу и тут вдруг почувствовал, как что-то тяжелое опустилось мне на плечо. Я поднял глаза — надо мной стоял пузатый рябой человек и что-то бормотал — наверное, ругался, потому что лицо у него было свирепое...

Я вскрикнул. Не от тяжести руки, а испугавшись вида этого человека. Не знаю, чем бы все это кончилось, но тут во двор вбежали все разом: мама, бабушка, снохи. Они вызволили меня из рук безобразного человека. Большеглазого мальчика-цыгана я больше не видал. Да и из двора меня больше не выпускали одного.

А через три дня мы вышли в путь. Бабушка, прощаясь, плакала, судя по всему, все порывалась что-то сказать, да так и не сказала. Снохи ласково улыбались. Дядя Сайфитдин проводил нас до Куйлюка. А уж до кишлака мы опять добирались своими силами.

Сестры разве что не висели на дувале, с таким нетерпением ждали нашего возвращения.

— Ну что, что сказали дяди? — спросила Магрифа, как только мы переступили порог дома.

— В городе не лучше, чем в кишлаке, — уклонилась мама от прямого ответа.

— Так что, выходит, мы не переедем в город? — разочарованно протянула Саифа. — А мы тут все глаза проглядели, ожидая вас, думали, возвратитесь с хорошими вестями.

— Будешь продолжать собирать свои колосья и кизьяки, — отрезала мама и больше ни о чем не стала говорить.

Только теперь я понял, почему мама, не отпросившись у бригадира, тайком уехала в город. Только теперь до меня дошел смысл настороженных взглядов Муборы-апа и снохи Анар, которые начинали проявлять беспокойство всякий раз, как мама начинала хвалить город. Мы, выходит, ездили с ней на разведку — нельзя ли и нам перебраться в уютный дворик, заросший виноградником. И вернулись ни с чем!

РАСПЛАТА

Из-за поездки в город мама три дня — в субботу, воскресенье и понедельник — не выходила на работу. Во вторник утром, когда мама с сестрами собиралась в поле, раздался стук в калитку. Стук был раздраженный, какой-то злорадный — мы все это сразу почувствовали.

Мама, побледнев, поспешила к калитке, распахнула ее.

Первое, что бросилось нам в глаза, злобная физиономия Артыкбая-вора. Намотав повод на левую, покалеченную, руку, правой он что есть силы колотил рукояткой камчи по резной дверце, хотя она уже и была открыта. За-

тем он спрыгнул с коня, привязал поводья к дверной щелчке и зашел во двор.

Сколько раз я слышал рассказы о дивах, изрыгающих проклятья. И вот мне почудилось, что передо мною див,— костлявое лицо побледнело, даже как-то посинело, глаза горели ненавистью, а изо рта вылетали ругательства. От этих ругательств и криков даже лошадь, привязанная у калитки вздрагивала и поровила отвязаться. Ей, видимо, было стыдно за своего хозяина, и она готова была ускорить куда глаза глядят. Я увлекся и стал сочувственно рассматривать почти красную лошадь с белой отметиной на лбу. Она была худой, неухоженной, хозяин явно не заботился о своем помощнике. И по всему было видно, что и конь не питал никаких теплых чувств к Артыкбай-вору.

Очередной вопль этого грубого человека заставил нас с лошадью вздрогнуть одновременно. Я увидел, что бригадир размахивает камчой перед маминым лицом, а мама и сестры, совершенно растерявшись от такого взрыва ненависти, пятились к айвану.

Мне стало страшно: неужели этот человек осмелится ударить женщину?! Мою маму! Которую я просто не узнавал. Ведь она же храбрая, она не боится самого раиса. Почему же сейчас молчит?

А Артыкбай-вор, сорвав голос, перешел на злобное шипение:

— Почему три дня не выходишь в поле? Ты что, забыла, какое сейчас время? Кому за тебя отвечать, мне?! Да я тебя... из колхоза выгоню!

Мама как-то жалобно улыбнулась и с нотками вины в голосе сказала:

— Артыкбай-ака! Почему угрожаете? Побойтесь бога! Ведь мы соседи до конца наших дней.

— Плевал я на твоего бога! — заорал Артыкбай-вор. — Ну и что, если сосед? Это тебе не мешало обвинить меня в воровстве, оклеветать. Я тебе этого не забуду, живо под суд отдам. И тебе не поможет то, что муж твой в армии и что когда-то получил орден. Не с чего мне бояться твоего мужа. Да еще и неизвестно, вернется ли он с войны!

Последние слова маму обидели куда сильнее, чем все оскорбления в ее адрес.

— Думайте, что говорите, — в голосе ее звучал гнев, — я не прячусь за спину мужа. Если муж занимал высокие посты, получил орден, то за свои заслуги. Правительство наградило его. А насчет того, вернется ли... Знайте, вер-

нется. Я жду его, вот эти галчата ждут его,— и мама показала на нас.

— Говоришь, не прячешься за спину мужа, а сама делаешь, что в голову взбредет. Да тебе за прогулы знаешь что полагается?!

— Артыкбай-ака,— все еще сдерживалась мама и старалась уладить дело миром,— было у меня четверо детей, стало пятеро. Дочка Рихси появилась. Работаю с дочерью от зари до зари, чтобы прокормить их всех. Я не собираюсь жаловаться. Но трудно иногда женщине одной, вот и потянуло к матери, к братьям, хотелось поделиться заботами, посоветоваться. Дорога дальняя, хафтобусов мало, думала приехать в понедельник, да не смогла. А я работы не избегаю, выйду, труд — дело привычное для меня.

Артыкбай-вор равнодушно выслушал маму, а затем, все так же не меняя тона, прорычал:

— Почему не отпросилась? Что, меня уже и за человека не считаешь? — И бригадир потряс в воздухе камчой.

— Эй, дядя,— вмешалась вдруг Саифа,— успокойтесь-ка лучше, а то плохо вам придется.

Артыкбая-вора точно кипятком облили. Он так и взвился от злости, что какая-то сопливая девчонка учит его уму-разуму; неизвестно на кого, может, просто так, для острастки, замахнулся камчой.

Но быстрая Саифа, испугавшись, видимо, что удар камчи предназначен маме, бросилась, чтобы схватить Артыкбая-вора за руку, и хлыст прошелся по ее голове и лицу, оставив сразу же вздувшийся рубец.

На мгновение во дворе воцарилась такая тишина, что был слышен шелест листвы на шелковице. Мама точно онемела. Она прижала руки к груди и с молчаливым ужасом смотрела на прекрасное юное лицо Саифы, сразу же обезображенное красным рубцом.

Но вдруг тишина словно взорвалась изнутри — мы разом, не сговариваясь, бросились на Артыкбая-вора. Саифа, как дикая кошка, в один прыжок очутилась рядом с негодяем и заломила ему назад руку, сжимавшую камчу. В то же самое время Магрифа закрутила ему назад левую руку, я повис на ноге, а Рихси, сбросив на землю тубетейку, вцепилась в волосы.

Артыкбай-вор мотал нас в разные стороны, рычал, грозил всех прибить, но вырваться не мог — мы вцепились в него мертвой хваткой. И только мама все еще стояла в

стороне, словно решая, какого наказания достоин этот человек.

И вдруг она подошла к нам, спокойно растолкала в разные стороны, а затем размахнулась и дала Артыкбай-вору такую оплеуху, что тот покачнулся.

— Вон! Убирайся вон с нашего двора, — сказала она тихо.

И бригадир понял, что теперь эта женщина будет разговаривать с ним иначе. Точно побитый пес выскочил он за калитку, а во дворе у нас грянул злой смех. И смех этот был самым оскорбительным наказанием для бригадира, считавшего себя мужчиной, представителем власти, имевшим право решать судьбы людей.

С тех пор Артыкбай-вор не появлялся в нашем дворе, не осмеливался ни стучать в калитку камчой, ни звать по утрам на работу. И мама и сестры по этому поводу говорили: «Ну что ж, нет худа без добра. Теперь не слышим хотя бы его отвратительный голос».

А я размышлял о другом. О том, почему на свете есть такие люди, как Артыкбай-вор?

Идет война, людям и так трудно, а бригадир делает все возможное, чтобы им было еще труднее. Мне ужасно хотелось стать поскорее большим и прогнать из бригадиров, а лучше и вообще из нашего колхоза Артыкбая-вора. А еще лучше, пусть кончится быстрее война, вернуться домой отец, зять Зиятбай, уж они-то не потерпят такого бригадира.

И каждую ночь теперь я засыпал с одной мыслью: пусть скорее кончится война.

ГОРЕ ЮНОЙ САИФЫ

Сестра Саифа была в нашей семье всеобщей любимицей. И маминым утешением. Три года было Саифе, когда она осталась без отца. Расулбай — первый мамин муж — погиб в голодное время от руки негодяя. Вдвоем с человеком по имени Савурбай обработали они поле и посеяли ячмень. А когда собрали урожай, Савурбай не захотел делиться с Расулбаем и убил его, распуслав слух, что тот упал с шелковицы. Но был мальчишка-свидетель, и в кишлаке узнали правду, доказать которую, однако, не взялся никто.

Саифа подросла и узнала имя убийцы своего отца.

— Рано или поздно, отомщу убийце,— сказала она маме.

Мама долго вдовствовала, но вот встретила моего отца и, уступив уговорам родных, вышла за него замуж.

По рассказам мамы мой отец был человеком добрым, душевно щедрым, он не обижал девочек — Магрифу и Саифу. И все-таки старшие сестры как-то чувствовали, что обойдены судьбой. Особенно остро ощущала это Саифа — от природы впечатлительная, нервная. То обстоятельство, что росла она без родного отца, не могло не сказаться на ее характере.

Она была, несмотря на всю свою доброту, вспыльчива и неуравновешенна. Приступы веселья мгновенно могли смениться в ней грустью, а иногда и приступами ярости. Но все-таки главное, что определяло ее характер, было врожденное чувство справедливости.

Она, может быть, была и не очень красивой, но все, кто смотрел на нее, тут же начинали улыбаться — таким располагающим, приятным было ее лицо с улыбающимися карими глазами.

Саифа была озорница и выдумщица. Озорство ее иногда переходило, как говорила мама, дозволенное. Так, когда в кишлаке поспевали яблоки, она подбивала мальчишек, и за какую-нибудь ночь сады пустели. Виновных отыскивали, наказывали, но стоило Саифе только кликнуть, и те же мальчишки вновь оказывались возле нее — ведь по весне первых бумажных змеев им делала она же, Саифа.

Когда отец ушел на фронт, Саифа, как-то сразу повзрослев, безропотно отправилась работать. И не уступала при этом взрослым.

И в то же время она осталась все такой же проказницей и озорницей.

Нас, малышей, она щипала, валила с ног, заставляла быть у нее «в услужении». Но, не приведи аллах, если нас обижала уличная ребятня, тут уж Саифа была скоро на расправу. Когда мы не могли выпросить у мамы хлеба, она исчезала и в скором времени возвращалась с полным фартуком фруктов, усевшись во дворе, приговаривала: «Ну, цыплята, ешьте».

И разве могли мы предположить, что с быстрой нашей, неугомонной Саифой произойдет несчастье?!

Как-то в наш двор вновь пришел тихий Касым. После того памятного похода на колхозный склад он к нам не

заглядывал, чувствуя себя перед мамой в долгу и ужасно смущаясь этого чувства.

Вошел он сегодня как-то незаметно, бочком протиснувшись в калитку. Замер посреди двора, не осмеливаясь без приглашения войти в дом.

Увидев тихого Касыма, мама поспешила ему навстречу и обняла так, как обнимала нас, своих детей.

— Касымджан, как ты? — И голос у нее был таким же ласковым, каким она обращалась к нам. — Как здоровье жены, как дети? Почему перестал приходить?

— Арифа-апа, — сказал тихий Касым, пряча сразу же ставшие влажными глаза, — спасибо, жена день и ночь молится за вас. Дети хвастаются, говоря: «Тетушка Арифа прислала нам хлеба». Пришли бы к нам в гости.

— Родненький, лишь бы у тебя все было хорошо, — ответила мама. — Мне ничего не надо. Хлебом, которым хочешь меня угостить, лучше накорми своих детей.

— Никто мне не сделал столько добра, сколько вы, — продолжал тихий Касым. — Все равно я у вас в долгу. Скажите, сделаю любую работу, если надо.

Саифа, как обычно, не стала дожидаться приглашения вступить в разговор.

— Касым-ака, — дернула она его за рукав, — хотите оказать нам услугу?

Лицо тихого Касыма просияло.

— С удовольствием, — сказал он с таким видом, словно был готов немедленно, если понадобится, хоть в воду броситься.

Саифа уперла руки в боки и протянула:

— Ну так... чем же вы нам можете быть полезны? — И вдруг глаза ее хитро блеснули. — А вот хоть этого сопливого, — она указала на меня, — с Камалом, который хоть и большой, а капризничает, поразвлекайте, посадив на закорки. А можно... можно на закорки посадить и... меня!

Все засмеялись. И тихий Касым тоже.

— Чтоб язык у тебя отсох, плутовка, — сказала мама, отсмеявшись и вытирая слезы, — такая взрослая девица и сядешь на спину Касыму! Что люди скажут? Дочь Арифы рехнулась! Касым, не обижайся, ты же знаешь, у нее в голове ветер.

— Она мне сестренка, я люблю, когда она шутит...

Тихий Касым не кончил говорить, как приоткрылась калитка — во двор нерешительно вошел Артыкбай-вор.

Это был его первый приход после изгнания, и вид у него был смиренный и даже несколько заискивающий.

— Касым, ты тоже здесь? — удивился Артыкбай-вор. — Хочешь Саифе наше решение сообщить?

— Да нет... я не знаю, — замялся тихий Касым. И вдруг решительно проговорил: — Я бы не хотел, чтобы Саифа подавала снопы на арбу. Арба высокая. Волю у Джумабая непослушные. Поставьте кого-нибудь из стариков.

— Кого поставлю? — нахмурился Артыкбай-вор. — Старикн на гумне! Если поставлю кого-нибудь из них, кто будет провеивать пшеницу? Если ты, табельщик, будешь так говорить, кто будет делать колхозную работу? Арифа, — Артыкбай-вор наконец-то решился посмотреть маме в глаза, — пусть Саифа выходит сегодня на поле Карамон. Будет подавать на арбу снопы. Не хватает людей.

— Одну не пушу, — заявила мама. — Рано еще ходить на поле одной. Пусть повзрослеет.

Бригадир стоял молча, лишь желваки играли на заросших щетиной скулах.

— Артыкбай-ака, — снова вступился тихий Касым, и в голосе его была все та же твердость. — Саифа не осилит арбу, сам выйду, буду работать вместо нее.

— Ты что, шутить вздумал с колхозной работой? — Артыкбай-вор начал потихоньку закипать. — Если пойдешь работать вместо нее, кто будет табельщиком? Тогда уж бросай свою работу, бери в руки серп. Из-за увечья тебя поставили на легкое дело, пожалели... Вот скажу председателю...

— Да хоть самому богу скажи, — совсем осмелел тихий Касым. — А только Саифа на арбу не пойдет. Я за свою сестренку знаешь что тебе сделаю!

— Заткнись ты, баба, — от смущенного вида Артыкбая-вора не осталось и следа, — кто бы хвастался, но не ты, тихоня!

— Ах ты вор, — закричал вдруг тихий Касым и схватился за валявшийся у порога топор со сломанной рукояткой.

— Эй-эй, — мама удержала тихого Касыма, — не горячись. Чего ты равняешься с этим наглецом.

— Он кого угодно из себя выведет, — сказал тихий Касым. — Не за себя хочу его наказать, за вас. Недавно, говорят, на вас руку поднял.

— Эй, Касым-ака, — весело проговорила Саифа, — оказывается, у нас есть старший брат! Спасибо вам. Только вы

не бойтесь за меня, пойду работать на арбу. Нет ничего трудного в том, чтобы подавать снопы на арбу. Если боитесь, возьму с собой вот этого сопливого. Пойдешь, дурачок?

— Пойду,— закричал я радостно, тотчас повиснув на руке Саифы.— А ты правда возьмешь?!

— Возьму,— сказала Саифа и нахмурила брови,— но с одним условием. Будешь собирать колосья. Если станешь хныкать, прогоню с поля.

— Буду собирать, не стану хныкать,— отвечал я в каком-то отчаянном восторге.— Мама, можно?

— Ладно уж, ступайте,— махнула рукой мама.— Видно, время такое, что дети рано взрослеют.

И я побежал готовиться к выходу на поле Карамон.

«Карамон» — ака это заманчиво звучит. «Геройское». Уж там-то, наверное, настоящая жизнь.

Я сунул в карман глиняную свистульку, самодельную рогатку, надел праздничную рубашку и объявил, что готов.

Саифа завернула в платок кукурузную лепешку, платок подвесила к серпу и закинула его на плечо.

— Ну, пошли, сопливый! — И она довольно чувствительно ущипнула меня за щеку.

Когда по узеньким улочкам вышли мы к таинственной мечети, сзади послышался скрип арбы. На арбе сидел парнишка лет шестнадцати, Джумабай, и громко погонял, держа в руках хворостину, неторопливых волов.

— Эй, Джумабай! — сказала Саифа, встав посреди дороги.— Ты куда едешь? Довези нас тоже до поля. Наверно, с тобой придется мне возить пшеницу.

— Еду на Карамон,— проворчал Джумабай, раздраженный тем, что волы его едва брели.— На этих волах и до полудня не доберешься до Карамона.

— Шайтан побери твоих волов! — весело сказала Саифа и повисла на высоком борту, затем перекинула гибкое тело на арбу и втащила туда за руку меня.— Сопливый, пройди на середину и держись крепко,— распорядилась она строго, а затем с издевкой сказала Джумабаю: — Видимо, волы эти все в хозяина! Дай-ка мне хворостину. Если они не поскачут, точно кони, назову себя другим именем.

Саифа, оттеснив Джумабая, устроилась поудобнее и начала хлестать волов, весело покрикивая. Волы, брызгая пеной, раскачиваясь, стали ускорять шаг, и вскоре на-

ша арба уже неслась резво, оказываясь то на правой, то на левой стороне дороги. А Джумабай, довольный, улыбался оттого, что волы наконец точно проснулись, что гонит их какая-то неведомая сила и что рядом сидит такая необыкновенная девушка и удостаивает его, такого невзрачного и неприметного парня, своим вниманием. Я же радовался и сам не знаю чему!

Миновав Ходжа-махаллю, мы спустились к саю Угам. Затем поднялись на холм. Колхозные сады тоже остались позади — впереди лежало «Карамонское» поле. Поле это походило на глиняное блюдо, в середине которого была глубокая ложбина, где старики на волах молотили зерно, а на склонах холмов женщины жали пшеницу. Саифа спустилась с арбы, чтобы поздороваться с женщинами, а затем вернулась.

— Тихо, тихо, родимые, — сказала она ласково волам и потом юноше: — Джумабай, ты будешь снизу подавать снопы.

— А может, лучше мне укладывать? — спросил нерешительно Джумабай.

— Э, не стыдно тебе, парню, так говорить! — резко ответила Саифа, взбираясь на арбу. — А ну, подавай скорее. А ты, сопливый, иди собирай колосья.

Лицо Джумабая потускнело, ему, видно, было известно, что это за труд — подавать снопы. Тяжеловато. Я наблюдал за тем, как Джумабай железными вилами подает снопы, при этом ноги его подгибались под тяжестью груза, как Саифа ловко укладывает их, улыбаясь, перебрасываясь репликами то с Джумабаем, то с женщинами.

— А ну, сопливый, займись делом, — крикнула она мне, видя, что я пока не сдвинулся с места.

И тогда я набрал охапку колосьев и стал кормить волов, а они неторопливо, степенно жевали, благодарные мне за угощение.

Когда третья арба, наполнившись, отправилась к гумну, я вспомнил об обещании, которое дал Саифе, и принялся за настоящую работу. Но одно дело было собрать букет из колосьев и другое — собирать их и складывать в мешок. Тут только я понял, какой жаркий день стоит, — пот катил с меня градом, хотелось пить. Но нить было нельзя — обещал ведь Саифе быть мужчиной. И только когда спина совершенно перестала гнбаться, я позволил себе сделать перерыв. Саифа же с Джумабаем точно со-

ревновались: никто из них не хотел признаваться в усталости.

Когда наполнилась душистыми снопами очередная арба, Джумабай крикнул снизу:

— Хватит, а то опрокинется,— и принялся стягивать потный, прилипший к груди легкий полотняный халат.

— Подай, чего боишься?! — подзадоривала его сверху Саифа.— Давай уж набьем поплотнее!

Джумабай секунду подумал и вновь заработал руками, то и дело поглядывая наверх и ожидая крика сестры: «Хватит!»

Но вот уже и Саифа поняла, что арба переполнилась. Она подала Джумабаю знак остановиться, а я, чтобы как-то помочь сестре, которая качалась там, наверху, на снопах, точно былинка на ветру, решил отогнать мух, налипших на морды волов. Видно, я слишком усердствовал, и волы решили, что их погоняют.

Они замотали головами и резко потянули арбу. И тут же раздался душераздирающий крик — не ожидавшая рывка, Саифа не удержала равновесие и вместе с явно лишними снопами рухнула вниз. Первую минуту ничего невозможно было разобрать — Саифа барахталась под накрывшими ее снопами, Джумабай хлестал волов по мордам, пытаясь удержать их на месте.

— Сестрица,— я пытался помочь Саифе подняться. Но у меня на это не хватило сил, и она вновь откинулась со стоном на снопы.

— Нога,— проговорила она едва слышно. И тут я увидел, что пятка ее левой ноги окровавлена,— земля вокруг пропитывалась кровью.

Саифа, едва сдерживая слезы, гладила кожу вокруг пораненной пятки, словно ее нестерпимо жгло. Я не мог смотреть на искаженное страданием лицо Саифы, на кровь, капавшую на землю, у меня закружилась голова. Да что же этот недотепа Джумабай, думал я, не спешит на помощь, волы-то могут и подождать. Я подскочил к Джумабаю, потянул его за рукав, и он, смущаясь, наконец подошел к Саифе и растерянно уставился на рану, затем перевел взгляд на лицо Саифы.

Я опять решительно дернул его за рукав; Джумабай, словно опомнившись, крикнул: «Сейчас!» — и побежал на гумно, где работали старики.

— Скорее, скорее! — закричал я, увидев двух стариков, направлявшихся к нам.

— Как же ты, доченька, так неосторожно работала,— проговорил высокий старик, присаживаясь рядом с Саифой и рассматривая пораненную пятку.

— Детка, потерпи немного,— проговорил второй, но чувствовалось, что оба не знают, чем помочь.

— Пойду домой,— сказала, морщась от боли, Саифа.— Одна мама знает, что делать.

— Джумабай,— сказал высокий старик,— отвези ее домой. Бедная, лишь бы не осталась хромой.

Я почувствовал, что кто-то положил мне на плечо руку. Обернулся — сзади стоял тихий Касым. Секунду-другую он с неподдельным ужасом созерцал ногу Саифы, затем опустился рядом, осмотрел рану и сказал:

— Домой ее надо везти, рану срочно промыть следует.— И, обернувшись к Джумабаю, спросил: — Что же случилось?

— Упала с арбы,— ответил, отводя глаза в сторону, Джумабай.

— Что же ты, дурак, позволил девочке забраться на арбу! — сказал тихий Касым.— У тебя совесть есть? Что скажем теперь Арифехон? — Тихий Касым вновь повернулся к Саифе: — Сестренка, милая, сильно болит? Лучше бы твоя беда пала на мою голову. Я виноват. Собирался прийти и опоздал. Джумабай, давай сюда арбу, отвезем скорее домой девочку.

Посадив Саифу на арбу, повезли домой.

Мама, узнав о несчастье, переменялась в лице.

— Ох, несчастная я,— стала она причитать,— что буду делать, если моя красавица дочь отанется калекой?!

Саифу завели в дом и уложили. Мама с Магрифой растолкли в ступе голубиный помет, сожгли лук, приготовили мазь и приложили к ране.

Вскоре Саифа начала ходить, держась за стены, немного хромая. Мама с тоской смотрела вслед своей любимице и что-то шептала. Наверное, просила своего неведомого бога, чтобы он сжалился над ее дочерью.

...Саифа сначала держалась бодро, но время шло, а хромота не проходила. И так и этак пыталась сестра поставить ногу... И вдруг однажды, осознав, что это уже навсегда, разрыдалась. Разве сможет она теперь так же легко бегать, так же стремительно ходить? И что может быть ужаснее прихрамывающей девушки?!

Мы слушали эти причитанья сестры, и сердца наши

разрывались от горя. А я так остро чувствовал боль Саи-фы, что и сам стал, казалось, хромать.

О, как тяжело жить девушке с увечьем! Этот стон до сих пор стоит у меня в ушах.

ДОЛГОЖДАННАЯ РАДОСТЬ

Мы перебрались спать на айван. Днем была теплынь, а утром и вечером еще прохладно. Но уже стоял май, а значит, жизнь наша в основном переносилась на айван и во двор. Помню, в один из таких теплых дней мама во дворе молотила на подстилке колосья, мы с Камалом крутились возле, не то помогая, не то мешая.

— Мамочка! Давайте суюнчи! — с этим громким криком Саифа вбежала с улицы во двор.

Мама перестала работать, выжидающе, словно предчувствуя радость, уставилась на сестру.

— За что суюнчи, доченька?

— Война... Война кончилась! — кричала Саифа. — Наши победили!

— Правда? — Платок с маминой головы соскользнул на плечи. Она еще раз тихо переспросила: — Правда? — А затем опустилась прямо на землю и плечи ее затряслись от рыданий.

Не знаю, сколько просидела так мама, а мы молча простояли возле нее, но вдруг ее точно вихрем подхватило, она заметалась по двору.

— Слава богу! Мужчины возвратятся домой. Отец с фронта вернется! — кричала она, размахивая головным платком, подбегала то к Мазифе, то к Рихси, чтобы поцеловать их, то заключала в объятия Саифу. — Да быть мне жертвой за вас, дети мои!

Возбуждение и восторг мамы передалась мне, и я с криком «ура» понесся по двору.

Скоро в нашем маленьком дворике стало тесно от радости, и мама, и сестры, весело толкаясь и оттесняя друг друга, пытались выбраться через калитку на улицу. А когда наконец выбрались, то не узнали свою узкую глинобитную улочку. Пулей выскакивали из распахнутых настежь калиток босоногие ребятишки, выбегали простоволосые женщины, опираясь на посохи, выползали древние старцы.

Весть облетела кишлак мгновенно. Но это была всего лишь весть, радио тогда ни у кого не было, разве что на

площади у конторы, и все хотели знать точно, ждали с надеждой и нетерпением подтверждения.

— Эй, правда, что кончилась война? — вопрошал наш сосед Алимбува.

— Кто сказал? Кто это сказал? — допытывалась тетушка Ибо.

— Арифа-апа, дожили и мы до светлых дней, — это был хриплый голос соседки Махи-хола.

— Махи, голова у меня кружится, в глазах темнеет, — это уже говорит мама, — дайте глоточек воды.

— Помогите дедушке Хусану, он так спешил на улицу, что упал. — Я не узнал этот грубый голос.

А вскоре все голоса слились в сплошной гул.

— Чего ты стоишь! Слышишь, сестрица, война... война кончилась! Одолели врага, чтоб земля поглотила его!

— Если бы не одолели... Кончился бы наш род!

В этом гуле и толчее уже невозможно было понять, кто что говорит, кто смеется, кто плачет. У меня поплыло, замельтешило все перед глазами, закружилась голова.

И вдруг над дувалами улочки повис чей-то звонкий призыв:

— В контору! Надо идти в контору.

Все разом смолкли, как бы взвешивая предложение, и, придя к выводу, что оно разумно, устремились, кто бегом, кто шагом, на площадь.

Мы, ребятишки, конечно, неслись с победными криками впереди.

И не узнали свою старенькую площадь.

Она бурлила от страстей и эмоций!

Казалось, ничто не сможет устоять перед этой лавной человеческих чувств! Это было как обвал, как мощное движение селя.

Какими же должны были быть страдания этих людей, думал я ошеломленно, если радость их безмерна?! Разве может с этой радостью сравниться радость невесты, ждущей свадебного тоя, или радость матери, увидевшей своего первенца? Может быть, это сравнимо лишь с радостью человека, знающего, что он умирает, и воскресшего из мертвых?!

Я не сводил глаз со своей мамы. Наверное, откуда-то с неба падал на ее лицо преобразивший ее свет. Как выразить ей счастье женского, материнского сердца, в котором вострепнулась надежда. Вернется муж, отец ее детей, и жизнь снова наполнится смыслом.

Но не только о своей радости думала мама в эти минуты. Глаза ее были обращены к старшей дочери — Магрифе, к которой она всей душой желала счастья.

Магрифа же с Камалом на руках переходила от одного к другому и тихо повторяла: «Отец мой приедет», но не смела сказать: «Мой муж». Хотя по ее глазам было видно, что она больше думает, конечно, о возвращении Зиятбая, а не отца. Саифа крепко держала за руки Мазифу и Рихси, чтобы их не затолкали. У Рихси сами собой текли из глаз слезы. О чем думала она, что вспомнила, на что надеялась?!

Кто-то дернул меня за рукав, кто-то толкнул в бок — это были мои приятели. Я для солидности шмыгнул носом и объявил: «Отец привезет мне пистолет». Но дослушивать это известие уже было некому — мальчишки нырнули в самую гущу толпы.

А правда, было бы здорово, если бы отец привез мне настоящий пистолет, подумал я. «Отец, наверно, приедет на машине, — скончательно размечтался я, — в машине будут и другие военные, но главным среди них все-таки будет отец. Машина вылетит со стороны верхней махалли и, визжа тормозами, остановится в центре площади. Я растолкаю всех встречающих, повисну у отца на шее и скажу: «Мы ждали вас, мы плакали. Больше всех плакала мама, нет, я плакал больше. Нет, лучше скажу, мы вместе плакали». А отец, выпятив грудь с орденами — обязательно у него будут ордена, разве может человек, одержавший победу, вернуться без орденов, — подкиннет меня своими сильными руками и скажет: «Мой Анварджан! Ну-ка обними меня крепче. Вот и война кончилась, вернулся я, победив врага. Привез вам удивительные подарки. Вот этот пистолет тебе». И тогда Исамитдин лопнет от зависти и «генералом» его выбирать не станем уже никогда. Я сам поведу «солдат» в верхнюю махаллю, там мы возьмем «врагов» в плен, а когда начнется пора тоев, получим массу приглашений на плов.

Когда отец станет меня целовать, его усы будут шекотать мне лицо, — так было, когда зять Зиятбай нас целовал, но я все равно вытерплю. Интересно, а что скажет отец, увидев Рихси?

И я уже был готов к встрече героев. Однако в этот день никто не вернулся с фронта. Лишь через месяц стали появляться в нашем кишлаке фронтовики. Но среди них не было ни отца, ни зятя Зиятбая.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦА

Время шло, наши все не возвращались. Весь кишлак жил в тревожном ожидании. Все разговоры в нашей семье начинались с одной фразы: «Вот когда вернутся стец и Зиятбай...» Каждый стук в калитку мы воспринимали предвестником долгожданной радости.

Вечер был как вечер. На улице уже стемнело, но еще слышался гомон детворы, игравшей в «белую кость».

Из всех дворов тянуло дымком и запахом постной похлебки.

Раздался стук в калитку, и мы разом поняли — это кто-то из наших фронтовиков. Стук был громкий, радостный, какой-то призывный. Мама, сестры, мы с Камалом на какое-то мгновение опешили, неуверенно и с надеждой переглядываясь, и вдруг как по команде ринулись к калитке, в которую вновь постучали нетерпеливо и требовательно.

— Кто там? — Мама, оттеснив сестер, что есть силы толкала калитку в сторону улицы.

— Открывайте скорее, готовьте суюнчи! — послышался незнакомый, но приятный голос.

— Папа приехал! — заорал я, дергая за подол то Рихси, то Мазифу.

— Мама! — сказала Саифа все еще растерянно мечущейся маме. — Калитка-то во двор открывается.

— Совсем выжила из ума! — воскликнула мама, отпрянула назад и дернула калитку.

На улице стояло двое мужчин: один высокий, заслонял собою весь проход. Его лицо сияло.

— Вот принимайте герся, — сказал он и отступил в сторону.

И я увидел невысокого человека, стоявшего с растерянным видом. Это был отец.

Мама рванулась птицей навстречу, но не решилась броситься на шею, даже поцеловать — ведь рядом стоял неизвестный мужчина.

— Приехали, приехали... — шептала она и прикладывала кончик платка к глазам.

— Как твое здоровье? Как дети?... — И отец тоже, видимо, постеснялся гостя, только и сделал, что погладил маму по голове.

И они стояли молча, жадно и радостно разглядывая друг друга. Но сестры нарушили эту святую тишину. Пригсваривая ласковые слова, они стали обнимать и целовать

отца. И тут уж он не скупился на ласки. Мне не хотелось затеряться среди этого шума и гама, и я стоял в сторонке и ждал. Ждал, когда освободятся руки отца, о которых я столько мечтал.

Наконец он обратил на меня внимание, просто и нежно сказал:

— Сынок, ты что, не узнаешь меня?

И вот тут-то я бросился ему на шею. Еще вчера, мысленно проигрывая встречу, я боялся, что задохнусь от его грубых усов. Но вышло наоборот — лицо отца было гладкое, мягкое, какое-то все уютное, я прижался к нему щекой и ни за что не хотел, чтобы отец опускал меня на землю.

Но ведь был еще Камал, и отец поступил по справедливости, он и племянника вскинул вверх, а потом взял нас обоих крепко за руки да так и вошел во двор.

И опять в нашем маленьком дворике началось кружение и суета, как в день приезда Зиятбая-ака. О госте совсем забыли, а ведь это был человек из района.

Первой спохватилась Магрифа. Она расстелила на сурь курпачи и усадила на почетное место гостя и отца. Я сразу же забрался к отцу на колени и принялся рассматривать его, мешая общаться с гостем, и с мамой, и сестрами.

У отца было необыкновенно живое лицо, на нем тут же отражались все чувства и мысли, владевшие им в данную минуту. Если говорили о чем-то радостном, веселом, лицо его озарялось детской чистой улыбкой, если переходили на тяжелые воспоминания, глаза его наполнялись печалью.

Мама, оказывается, написала ему о пропавшей посылке, и отец, рассказывая эту историю гостю, свел все к шутке. «Стоит ли печалиться из-за тряпок», — сказал он, и они с гостем весело рассмеялись. Но вот когда речь зашла о смерти Эркина, отец так сильно изменился в лице, что я испугался. Но не только гостя занимал отец, никого не обделил он своим вниманием. Все ему было интересно и важно. Вдруг взгляд его остановился на Рихси, и он спросил:

— А кто эта девочка? Она мне, кажется, незнакома.

Рихси жалобно посмотрела на всех нас, и на глазах ее показались слезы. Она, видимо, ждала, что отец назовет ее дочкой, у нее и в мыслях не было, что он скажет — «мне незнакома эта девочка». Рихси растерянно переводила взгляд с одного на другого, не зная, что сказать. Больше

всего ей, наверное, сейчас хотелось вскочить и убежать или, вцепившись в мамин подол, разрыдаться.

— Это наша сестра,— ответила отцу Мазифа,— мама ее привела.

Отец смущенно улыбнулся,— он понял, какую ошибку допустил, и сказал ласково:

— Извини, доченька милая...

И уж тут-то Рихси разрыдалась, но теперь, видно, оттого, что отец назвал ее совсем по-родному: «Доченька милая».

Открылась калитка, и вошли, прикрывая лица платками, соседки. Они здоровались с отцом, вышедшим им навстречу, плакали. А я опять думал над тем, почему же они плачут, ведь в доме нашем такая радость.

Немного погодя пришли руководители колхоза. Они выделили в честь приезда отца барана, мешок муки, полмешка риса. Джумабай привез все это на своих ленивых волах. Когда привезли колхозные подарки, мы наконец вспомнили, что отец при встрече поставил у калитки маленький сундучок с ручкой наверху. Бросились с сестрами на улицу, сундучок стоял на месте. Саифа подхватила его, внесла на айван и попыталась открыть. Но сундучок был на замке. Саифа не стала отрывать маму и отца от гостей, она велела принести ей нож и вскрыла сундучок. Там, как мы и ожидали, были подарки.

— Ну-ка, цыплята,— сказала сестра,— получайте подарки.

Для меня отец привез новый костюм, видно, взамен украденного. Я облачился, несмотря на жару, в брюки и пиджак и важно засунул руки в карманы.

Первое, что мне хотелось сделать, показаться отцу, но он был занят гостями, и тогда я сел в сторонке и стал ждать, когда он вновь обратит на меня внимание. А если и не обратит, то что за беда — он же вот, рядом. Захожу — подойду, прижмусь к нему. И завтра он будет рядом — и всегда!

Около полуночи подали плов, и гости разошлись уже где-то под утро. Я лег с отцом на айване. И сон мой был таким уверенным и счастливым, что мне даже ничего не снилось.

Утром, когда проснулся, отец с гостем уже пили во дворе чай. А ближе к полудню он проводил гостя. И только тут я окончательно успокоился — теперь-то уж отец целиком принадлежит нам. А рассказать ему надо мно-

го: и про то, как храбро мы с Мазифой сражались с волком, и о том, как горевали, потеряв свою кормилицу-козу. А как же умолчать об Артыкбае-воре?! И тех неожиданных дней, когда гостил в доме Знятбай-ака. Надо повиниться, снять тяжесть с души, поведав о том, как не уберегли мы маленького Эркина...

Но ничего этого я отцу не рассказал. Не смог, не сумел. Я лишь ходил за ним целыми днями следом и, когда выпадало счастье, крепко брал его за руку. Так было все-таки спокойней.

ЗДРАВСТВУИ, ШКОЛА!

Все лето кишлак жил в радостном возбуждении — ждали и встречали фронтовиков. Мальчишки всех трех махалей успевали на празднества в каждый счастливый двор. Играли только в командиров и разведчиков, хвастались бсевыми заслугами своих отцов и братьев.

Но ближе к осени тема наших разговоров изменилась. Друзья мои — ровесники и постарше — объявили, что пойдут в школу, но не в старую, в которой занимались дети кишлака, а в новую, которую откроют специально для новичков, так как старая маленькая и всех желающих учиться не вместит.

Я с жадностью слушал эти новости и мечтал о новой школе — я представлял себе ее в виде дворца, подобного тому, в котором живут пери. Да и разве в таком костюме, какой привез мне отец, можно идти в какую-то старую школу!

Сестры мои — Рихси, Мазифа — стали особенно ласковы с мамой, и вскоре я понял почему — они просили сшить им школьные сумки.

Я тоже решил добиться школьной сумки и буквально не давал маме прохода. И наконец она сдалась.

У нее была старая швейная машинка «Зингер», до войны она немного шила — себе, соседкам. Но когда началась война, женщинам стало не до нарядов, и машинка была отставлена до лучших времен. И вот мама всю ночь шила нам из желтого с крупными листьями ситца сумки. Завязки на сумках были красного цвета, что украшало их. Осталось только дожидаться того дня, когда можно будет идти в школу.

Накануне первого сентября Саифа стала нас, будущих школьников, приводить в порядок. Сначала принялась за

сестер. Нагрела воды, намазала им головы кислым молоком, промыла с мылом, которое привез отец, и заплела Мазифе волосы в мелкие косички. Затем схватила меня, и моя бедная голова подверглась тем же процедурам. Когда Саифа смывала кислое молоко и мыло, то так мотала мне голову, что я боялся, как бы она не оторвалась. А сестра приговаривала:

— Пропади пропадом твоя голова, уж такая большая, чтобы вымыть ее, надо палваном быть.

Мыло попало в глаза, голсва вот-вот готова была оторваться, но я все терпел, боясь, что иначе меня не пустят в школу и отберут прекрасную ситцевую сумку.

Наступило первое сентября. Саифа подняла нас с первым щебетом птиц. Мы чинно сидели за дастарханом и пили чай, а мама и старшие сестры без устали напутствовали нас. Наконец мне позволили надеть костюм и перекинуть через плечо свою роскошную сумку. Саифа, прихрамывая, вошла в дом, а затем вышла с книжкой и тетрадью в руках.

— На, головастый! Учись хорошо! — сказала она, укладывая букварь и тетрадь в сумку.

Я знал, что тетради в нашем кишлаке были большой редкостью, и мне захотелось поцеловать Саифу за такой царский подарок.

Сумка с букварем и тетрадкой, словно крыло, поднимала меня от земли. Мне казалось — я лечу, а не иду в школу. Я даже хотел было закричать что-нибудь радостное, но подумал, что, наверное, теперь не имею права этого делать. Скорее всего следует «действовать» по-военному — четко и размеренно. Но по-военному не совсем получалось, потому что то и дело сумка моя как-то сама собой металась с одного плеча на другое, а ноги то и дело заставляли меня бежать вприпрыжку. Правда, я тут же спохватывался, напускал на себя вид «образованного» человека и начинал опять шагать размеренно — попутно то снимая с костюма невидимую пушинку, то солидно поглаживая сумку, где лежала тетрадь.

Когда я выходил уже с нашей узкой улочки, услышал голос Саифы:

— Эй, сопливый, подожди, сама поведу тебя.

Но я, сделав вид, что не слышу, двинулся дальше. После того, как миновал арык, встретил своих друзей — Турдибая, Самада, Миравлода и Абдурасула. Я был среди

них самым нарядным, самая красивая сумка была тоже у меня. Саифа все-таки догнала нас.

— Вы что, не знаете, что будете учиться не в старой школе, а в той, что открывается в Голубой мечети средней махалли. А ну идемте!

Сообщение о Голубой мечети немного расстроило меня — я-то думал, что иду во дворец.

Площадь перед Голубой мечетью была наполнена людьми. Возле одностворчатой двери здания, выходящей на север, стояли четверо мужчин и какая-то русоволосая женщина с тетрадью в руке. Это, как сообщила Саифа, были наши будущие учителя. Один из учителей взглянул на часы и вышел на площадь к народу. Он объявил, что здесь, в Голубой мечети, так как нет пока здания лучше, открывается школа для малышей. Затем вышел вперед красивый белолицый человек и, заглядывая в тетрадь, стал делать перекичку. Я все боялся, что он прочтет что-то не так и пропустит мое имя, и вздрогнул, когда услышал — Анвар...

Затем он представился и сказал, что будет нашим учителем. А звать его можно просто — Мирали-ака.

— А теперь, хуш келибсиз¹, — и Мирали-ака завел нас в школу.

Мечеть наскоро перестроили. Узкий коридор разделял ряд маленьких комнат. Мы вошли в крайнюю комнату с левой стороны. Комната была, как и коридор, узкая, но высокая. Одно небольшое окно выходило на улицу. И хотя это далеко был не дворец, комната мне все-таки понравилась.

— А теперь садитесь, дети, — разрешил Мирали-ака, и мы, толкаясь и отгесняя друг друга, кинулись к первому длинному столу и тесной гурьбой уселись на скамье.

Мирали-ака улыбнулся, но рассаживать нас не стал.

— Первый урок начнем со знакомства с родителями. Каждый, кого я подниму, не спеша назовет имя своих родителей, скажет, где и кем они работают.

Мы дружно закивали, а кто-то даже выкрикнул: «Ладно». И опять Мирали-ака улыбнулся, но замечания делать не стал.

О родителях все говорили охотно и складно, и учитель решил:

— Молодцы, ставлю всем вам пять. А теперь начнем

¹ Хуш келибсиз — добро пожаловать.

занятие. Сначала прослушайте внимательно то что я скажу вам, а затем все вместе повторайте за мной. Итак... Отец и мать — самые дорогие, уважаемые люди. Повторите.

— Отец и мать — самые дорогие, уважаемые люди! — дружно согласились мы с учителем.

— Уважать их — наш святой долг!

— Наш святой долг...

— Прекрасно работаете, молодцы!

— Прекрасно работаете... — начали повторять мы, но Мирали-ака остановил нас.

— Это вам оценка. А когда нужно будет отвечать, я скажу. Вот теперь повторайте: «Наш родной край — Узбекистан!»

— Наш родной край — Узбекистан!

Мы и на этот раз ответили дружно, но Мирали-ака не похвалил нас, а молча минуту-две смотрел на свой класс. Видимо, он давал нам время осознать смысл произнесенных нами слов.

— Все мы родились на этой земле. Могилы наших предков тоже на этой земле. Поэтому земля эта дорога всем нам!

На этот раз кое-кто сбился, и учитель терпеливо заставил класс повторить это дважды.

— Узбекистан — часть нашей великой Родины — Советского Союза.

— ...Советского Союза.

— Есть на свете одно великое имя — Ленин. Этот человек принес нам свободу!

— ...великое имя — Ленин!

И опять на какое-то время в классе воцарилась тишина. Мы думали.

Наконец Мирали-ака весело спросил:

— Ну как, понравился вам первый урок?

— Понравился, — уже слаженным хором ответили мы.

— Теперь все это повторите дома, завтра спрошу...

Ребята по возможности чинно вышли из школы и уже на улице, весело толкаясь и дергая друг друга за сумки, рассыпались в разные стороны. А мне почему-то не хотелось ни толкаться, ни ставить подножки. Я все еще повторял за Мирали-ака: «отец и мать», «Узбекистан», «Ленин».

Как только зашел к себе в калитку, навстречу выбежала мама, прижала к себе:

— Ну-ка, чернявый, расскажи, что ты выучил сегодня? Я только и ждал этого вопроса и так, словно передо мной не мама, а учитель и я отвечаю на его вопрос, громко сказал:

— Отец и мать — самые дорогие люди! Узбекистан — родной край! Великое имя — Ленин!

— Боже мой! — воскликнула мама. — Если за один день столько выучил, что же будет через год?! Сам станешь учителем.

Я скромно молчал, хотя против того, чтобы самому стать учителем, ничего не имел.

А мама все продолжала меня обнимать, повторяя:

— Жеребеночек мой... Ну-ка скажи, скажи еще раз, чему вас научили.

И я без усталости звонко и радостно восклицал: «отец и мать», «Узбекистан», «Ленин»!

МОЛЧАНИЕ

Война кончилась. Но не для всех. Она кончилась для тех, кто вернулся с войны, для их счастливых семей. А для тех, кто не вернулся с поля битвы, для их отцов и матерей, жен и детей она не кончилась. Отец наш вернулся, и для мамы, Саифы, Рихси, Мазифы, меня и самого отца война кончилась. А вот для сестры Магрифы и ее сына Камала, для не пришедшего с фронта зятя Зиятбая она все еще продолжалась.

Дома тех, кто вернулся живым, наполнились теплом и смыслом. А тех, кто не вернулся?! Их продолжали ждать. Каждый вечер на площади возле колхозной конторы собирались матери невернувшихся сыновей, жены непршедших мужей.

Магрифа, взяв за руку Камала, точно на вторую смену, каждый вечер шла к конторе. Возвращалась с печальными глазами, тихая, неразговорчивая. Приезд отца и обрадовал ее и опечалил — ведь она-то ждала, что вернется он вместе с Зиятбаем.

Как-то, уже в поздний час, вся семья наша сидела вечером во дворе за вечерним чаем. Вдруг каждый из нас прислушался — показалось, в калитку постучали. Стук повторился, и был он столь нерешительным, что сразу же заставил сердце забиться в предчувствии недоброго. Отец кивнул мне, и я направился было к калитке, но властный голос Магрифы остановил меня:

— Эй, подожди. Я сама это сделаю.

Она подошла и каким-то отчаянным жестом распахнула калитку. Стоявший на улице секретарь сельсовета Миркабул входить во двор не спешил. Лицо его выражало растерянность и смущение.

Магрифа молча и выжидающе смотрела на Миркабула.

И тогда тот виновато пробормотал: «Вот», и протянул сестре вчетверо сложенный листок бумаги.

— Что это? — Магрифа взяла бумагу, но открывать не решалась. — Говори!

— Это... это... — Миркабул озираясь по сторонам, точно искал поддержки. — Это... письмо, — наконец выдал он из себя.

— Какое письмо? Почему говоришь «это»?.. — Магрифа схватила Миркабула за руку. — Отвечай, что за письмо?

— Вы не волнуйтесь, то есть я хочу сказать... ваш муж... — Миркабул замолчал и затравленно уставился на меня, словно просил: «Да скажи своей сестре, пусть отпустит душу на покаяние, не виноват я».

А Магрифа, сразу женским сердцем своим почуяв беду, словно обзумела. Она трясла, точно орешину, Миркабула и требовала:

— Говори, что случилось?

— Похоронка на вашего мужа!.. — в отчаянье закричал Миркабул и заплакал.

— Что?.. — Магрифа с такой злостью толкнула Миркабула, что он едва удержался на ногах. — Дурак! Ты думай, что мелешь! Какая похоронка — война давно кончилась. — Она все больше свирелела. — Я тебе покажу, негодяй, похоронку!

Отец, мама и сестры бросились к калитке, стали оттаскивать от перепуганного насмерть Миркабула обезумевшую Магрифу. А та, вцепившись мертвой хваткой в воротник парнишки, продолжала кричать:

— Вы слышите?! Этот щенок принес похоронку на моего мужа. Что я ему плохого сделала?!..

Мама обняла за плечи, тихо сказала:

— Доченька, отпусти парня, он не виноват. Где бумага?

Я поднял с земли истоптанное письмо, протянул маме. Мама подержала в дрожащих руках и протянула Саифе:

— У тебя глаза молодые.

Саифа развернула бумагу, молча прочитала и сказала:

— Зять...

И мы сразу все поняли.

— Царствие ему небесное! — мама провела ладонями по лицу и вновь обняла Магрифу.

— Мама!.. — вырвался у той вопль из груди.

— Доченька, возьми себя в руки, — говорила тихо и ласково мама. — Что соседи скажут!

Возле нашей калитки действительно уже собрались люди, и Миркабул им что-то испуганно объяснял.

Мама увела Магрифу в дом, а отец протянул к Саифе руку, взял письмо и громко прочитал:

— «Холов Знятбай... На земле Чехословакии... в бою против врага пал смертью храбрых...»

Отец покачал головой, он не мог понять, почему же так долго шло это «черное» письмо.

— Как же так вышло? — обратился кто-то из соседей к отцу, но он, не ответив, ушел в дом.

А Магрифа, отпустив Миркабула, начала обвинять маму.

— Вы во всем винсваты, — сказала она, высвобождаясь из маминых объятий. — Я сделала невозможное, залечила рану Камала. И для чего? Чтобы враги убили его? Уж лучше бы вы тогда не мешали разрубить ему ногу. Хоть и был бы калека, да зато живой!

— Опомнись, доченька... — сказал отец Магрифе. — Лучше честно пасть в битве с врагом, чем стать калекой из трусости! Твоя мать никогда не позволила бы так скватать...

И тут Магрифа зарыдала.

— Потеряли мы отца, — причитала она, прижимая к себе Камала. — Все глаза проглядели мы, ожидая его, но не вернется он никогда!

Слезы облегчили ей душу, вернули способность мыслить, и она наконец сказала те слова, которых мы все от неё ждали:

— Камал, сынок, твой отец погиб героем!

Утром Магрифа надела все синее, мама повязала синий платок, в нашем доме начался траур.

УРОК ДОБРОТЫ

Наступила зима. Еще несколько дней назад все было в мире иначе — оголтелые воробьи шумными стаями носились над желтыми садами, роняющими на уже холодную

землю листья: вороны, срывая спелые орехи, оставшиеся после сбора урожая, раскалывали их сильными своими клювами, съедали зерна и сбрасывали вниз кожуру. Но вдруг теплый ветер резко сменился холодным, куда-то разом исчезли воробьи, нахохлились на оголенных деревьях вороны, закружились в воздухе первые снежинки, пришла пора белых снегов. И теперь было уже неизвестно, что для нас важнее — школа с ее открытиями или ледяной каток на площади, откуда мы возвращались домой с посиневшими носами и окоченевшими руками.

Удивительное началось время. Вот это удивительное время и подарило мне светлые, как белый снег, чувства...

Папа давно уже собирался пойти на работу, но мама находила тысячу причин, чтобы еще хоть немного удержать его дома. Дело кончилось тем, что отец стал сердиться и наконец как-то объявил вечером:

— Оказывается, на колхозной ферме нужен учитель. Никто не соглашается идти туда. Сказал, что я пойду.

Мама всплеснула руками:

— Только вчера вернулись вы с фронта, дети еще вдоволь не нагляделись на вас. Вы бы сначала подумали, прежде чем соглашаться. Да и мыслимое ли дело — колхозная ферма! Расстояние немалое. Легко ли будет ходить по снегу, по холоду туда и обратно. Дорога плохая, волки рыскают.

Отец, видно, все уже решил, но хотел по-хорошему, мирно добиться согласия мамы.

— Любишь ты придирааться по пустякам, — сказал он шутливо. Но тут же стал серьезным. — Там, на ферме, есть дети, оставшиеся без отцов. Сам был сиротой, знаю, что это такое — сиротство, малограмотность. Детей должен кто-то учить. Если когда задержусь, заночую там. У чабанов.

Мама покачала головой, ох как ей не хотелось отпускать его из дома, но, видя решительность отца, стала сдаваться.

— Кто же вам будет там готовить? — спросила она, прибегая к последнему женскому аргументу. — Кто лепешки испечет?

— Как? Разве ты не знаешь моих способностей, — улыбнулся отец. — Да я лучше тебя пеку лепешки. Чем только не приходилось заниматься мне в сиротстве.

И мама вынуждена была дать согласие, чтобы отец пошел учителем на колхозную ферму.

Как мама и предполагала, дорога действительно оказалась тяжелой. Уже через неделю отец стал оставаться ночевать. Домой возвращался по суббстам. Усталый, но радостный. И часами мог рассказывать о своих учениках. Со всех ближайших отделений он набрал двенадцать ребятшек, дела в «школе» налаживались.

Мама эти разговоры слушала неодобрительно, ее явно что-то мучило. Что именно, мы вскоре узнали, так как в доме разразился скандал. Колхоз отцу давал карточки. По ним выдавались ксе-какие продукты, но главное — мука. После ухода отца на ферму, муку пришлось делить. Мама и так-то была против работы отца на ферме, а тут еще вдобавок дележ муки, явно сказывавшийся на семейном благополучии. И она не выдержала, сорвалась:

— Преподавали бы здесь, не пришлось бы делить муку, было бы выгоднее,— сказала сердито мама.— Еще не поздно, возвращайтесь в кишлак. Если учителям, которые не могут сопли потереть, нашлась работа, то вам не найдут, что ли?

— Эй, чтоб ты разбогатела,— попытался отшутиться отец. Но, видя, что мама злится всерьез, стал объяснять ей:— Дело не в том, найдется или нет мне место в кишлаке. Если захочу, завтра же меня назначат директором. Ни у кого нет ордена, а у меня есть. Просто некому работать на ферме. А там дети — их учить надо.

— Если бы стояли твердо на своем, как другие, не послали бы вас,— не унималась мама.— Что, кроме вас, нет никого? На фронт вы ушли добровольцем и тут хотите...

— Хватит,— оборвал ее резко отец.— Прекрати. Иначе вообще не буду приходить с фермы.

Мама тут же умолкла, по-видимому, угроза отца напугала ее. На этом спор закончился, и никогда уже больше вопрос о муке не обсуждался в нашей семье.

Когда отец возвращался, я буквально «прирастал» к нему, и стоило ему присесть у сандала, я устраивался рядом и принимался за расспросы. Отец, уставший после долгой дороги, с удовольствием грел ноги у сандала и, чуть прикрыв глаза, рассказывал мне о бескрайнем белом поле, тянувшемся по краям дороги, о волках и лисах, рыщущих в поисках добычи. О сайгаках, которым трудно переносить жестокие холода. Все это было захватывающе, и мне захотелось во что бы то ни стало попасть на далекую и так богатую событиями ферму. Хотелось увидеть волка, лису, сайгаков. Я стал умолять отца взять меня с собой. Отец

просьбе не удивился. Он внимательно посмотрел на меня, подумал о чем-то и наконец кивнул — ладно.

Вечером мы вышли в путь. День выдался теплым, выглядывало солнышко, и снег кое-где подтаял. Даже к вечеру не похолодало. Я с удовольствием шагал по дороге и все ждал, когда же появятся волки, лисы, сайгаки. Но пусто и тихо было в поле, на дороге. Вскоре я притомился, и отцу пришлось какую-то часть пути нести меня на спине. Я даже вздремнул было, но громкое мычание коров, блеянье коз и овец известило, что мы прибыли.

Отец опустил меня на землю и завел в длинный-предлинный, широкий-преширокий, с четырех сторон обнесенный глинобитной стеной двор фермы. Навстречу выбежала свора собак, но, узнав отца, сразу повернула обратно. В дальнем углу двора были пристройки. Мы вошли в какую-то мрачного вида комнату. Видимо, здесь раньше никто не жил — стены были не оштукатурены, пол — земляной. В правом углу комнаты стоял сандал, покрытый ватным одеялом, в левом — железная печка, в нише лежали сито и подстилка для просеивания муки. На глухой стене висела небольших размеров черная доска. Отец перехватил мой удивленный взгляд и сказал, что эта комната и есть школа. Школа мне не понравилась, но что обрадовало, так это обилие дров. Отец разжег печку, насыпал в сандал жару, и комната стала прогреваться. Он заварил чай в черном от копоти кумгане. И чай этот мне показался ароматным и вкусным. Спать легли на ветхие курпачи.

Утром, когда открыл глаза, увидел, что отец, расстелив скатерть, просеивает муку. Немного спустя, засучив рукава, начал месить тесто. И я удивился. Много раз наблюдал я за тем, как это делают мама и Магрифа. Но отец все это совершал просто мастерски. Все движения его были экономны, расчетливы и несуетливы. Замесив тесто, он завернул его в скатерть и вышел наружу. Немного спустя вернулся, развернул скатерть и вновь промесил тесто, затем попробовал на язык соль и разделил на части. Пересчитал. Один раз, другой.

Увидев, что я за ним наблюдаю с немим вопросом в глазах, объяснил:

— Одной недостает.

Он собрал все кусочки, вновь перемесил тесто и снова разделил.

— Почему вы так делаете? — не выдержал я.

— Так падо, потом узнаешь, — уклонился он от ответа.

Наконец тесто было поделено на четырнадцать частей. Раскатано в лепешки. В тандыре уже горели угли, и начался самый ответственный момент — выпечка.

Когда в меру румяные, ароматные лепешки появились на дастархане, я не выдержал и схватил одну. Но отец попридержал мою руку и сказал:

— Не спеши, сынок. Я тут не один. У меня есть друзья. Мы завтракаем все вместе. Потерпи немного, скоро они придут. Слышал, говорят: «Отбившегося от стада съедает волк»?

— Слышал,— ответил я рассеянно, так как думал о другом: «Что же это за друзья и сколько их здесь у отца?»

Отец, завернув в чистое полотенце лепешки, положил их в нишу. Затем вынул раскаленные угли из тандыра и выложил в сандал. Вымыл с мылом руки. И стал ждать.

— Не балуйся, когда придут мои друзья,— попросил он меня.— Чтобы не говорили, что у дамло¹ сын озорной.

— Ладно,— успел лишь сказать я и тут услышал во дворе веселые голоса и какую-то возню у двери. Отец открыл дверь.

— Здравствуйте! Доброе утро! — раздались крики детей, и в этих криках можно было едва разобрать приветливый голос отца: «Пришли, мои хорошие? Очень соскучился по вас». Я осторожно выглянул во двор. Дети примерно моих лет буквально облепили отца — кто висел на шее, кто на руках, а отец приподнимал их, кружил. Наконец ребята увидели меня и, словно по команде, смолкли. С немым вопросом в глазах повернулись к отцу.

— А это и есть мой сын Анвар, о котором я вам говорил,— сказал отец.

Ребята осторожно приблизились ко мне, оглядели с интересом. Они улыбались. Кто-то погладил меня по щеке, кто-то дотронулся до плеча. Я же стоял преисполненный гордости и важности оттого, что привлек к себе внимание. Оказывается, это почетно быть сыном учителя.

— Анвар-ака,— прошептал какой-то смуглый мальчик.

— Как тебя зовут?— спросил я его, немного смущаясь.

— Анварбай,— сказал отец,— вот это мои друзья, о которых я говорил тебе только что. Ну-ка, познакомься.

Мы стали знакомиться, и дети сначала робко, а затем все свободнее спрашивали меня.

— Вы будете дружить со мной?

¹ Д а м л о — учитель.

— А со мной?

— Буду дружить,— ответил я.— Со всеми буду дружить.

И тогда обрадованный отец завел всех в класс.

— Ну, занимайте свои места,— сказал он, а сам достал из ниши дастархан с лепешками.— Анварбай, ты тоже сядь рядом со своими друзьями.

В комнате воцарилась тишина.

— Сейчас даст хлеб,— прошептал кто-то.

— Так,— отец раскрыл дастархан.— Кто первый сегодня? С кого начнем?

— Я возьму,— ответила худенькая девчушка и подошла к отцу.

— Вот,— отец дал девчушке лепешку и поцеловал.

Другие ребята тоже, выходя, по очереди взяли свою долю. Очередь дошла до меня.

— Анвар! — Услышав голос отца, я вскочил.— Это тебе.

— Спасибо,— сказал я, взяв лепешку, и покраснел. Потому что я впервые вот в такой обстановке брал хлеб из рук отца. Взять-то взял лепешку, но, вернувшись на свое место, задумался, не зная, что делать. А дети не торопясь ели хлеб.

— Вот это мне,— сказал наконец отец, взяв с дастархана оставшуюся лепешку, отломил немного и положил в рот.

Я проголодался, но, несмотря на это, может быть, потому, что отец не съел свою лепешку и я был гостем, решил не есть хлеб. Теперь мне стало понятно, почему отец удержал меня за руку, когда я хотел отломить кусок от лепешки.

Дети съели хлеб, и, довольный, отец начал урок. Дети все еще учились писать буквы, отец на доске, подвешенной к стене, написал буквы «А», «Б», «В», «Г». Несколько раз прочитал. Потом начал вызывать ребят. Заставлял написать, прочесть. За это время два раза делал перемену. Выйдя во двор, мы весело и непринужденно играли. Одним словом, подружились.

После уроков дети не хотели уходить, не хотели расставаться с отцом. Отец, поцеловав каждого, проводил домой.

Когда мы возвращались в кишлак, отца остановил старик с белой бородой, погонявший коз и овец.

— Не скучно вам здесь, сынок? — спросил, опираясь на посох.— Заходите к нам в гости. Не будьте таким стеснительным. Дети полюбили вас. Как только откроют гла-

за, сразу бегут к вам. Лишь одно не по душе нам... Зря вы от своих детей отрываете кусок...

— Не понимаю вас, ота? — смущенно проговорил отец.

— Говорят, вы из своей муки печете детям лепешки, — продолжал старик. — Мы вам должны помочь.

— Хусан-ота, — сказал отец, поняв, о чем ведет речь старик, — война кончилась. Кончилась победой. Это наш успех. Скоро и хлеба будет много. Я сам рос в сиротстве. Люди пригрели меня. Если даю детям хлеб, то даю от чистого сердца. Ведь среди моих учеников тоже есть сироты.

— Пусть будет вам счастье в жизни, — старик похлопал отца по плечу. — Мясо есть. Хлеба маловато... Мясо, оказывается, не может заменить хлеба. Дети, в надежде получить хлеб, ходят в школу.

— Хусан-ота, я сам был на войне. Пусть больше не повторятся те страшные дни, — сказал отец. — Я плакал, глядя на страдания детей. Еще тогда поставил перед собой цель: если вернусь на родину невредимым, всю жизнь посвящу детям. Я достиг своей цели. Нет в мире ничего, дороже детей. И не будет.

— Пусть будет вам счастье в жизни. — Старик, проведя руками по лицу, благословил отца.

Мы пустились в путь. Когда уже дошли до кишлака, отец попросил меня:

— Анварджан, не говори маме о том, что я испек лепешки и раздал их детям.

— Почему? — спросил я удивленно.

— Когда вырастешь, поймешь, — ответил отец.

Я опустил голову. Ведь я спешил домой с одной целью — поскорее рассказать маме, сестрам о том, что видел и пережил на ферме. Просьба отца заставила меня задуматься. Я никому не сказал об уроках отца. Но сам часто вспоминал этот урок, урок доброты, преподанный мне отцом. Я стал видеть в нем не просто отца, но и преданного своему делу учителя, всей душой любящего детей, человека, решившего, как он сам выразился, посвятить всю свою жизнь детям. До этого дня я как-то не задумывался, что необходимо делать людям добро, приносить пользу, даже не ведал об этом. Я только знал, что есть хорошие и плохие люди. К хорошим людям я питал любовь, а к плохим — ненависть. К отцу, к матери, сестрам испытывал естественное чувство — чувство любви. Но вот я увидел, как отец, отрывая от своей семьи, печет ученикам лепеш-

ки, и задумался о том, что человек и чужим должен делать добро. Тогда я, помню, решил, что, когда вырасту, обязательно стану, как отец, учителем, пойду на ферму учить детей, буду печь своим ученикам лепешки. Я в этот день заново открыл для себя отца.

ЧЕЛОВЕК В ЛОХМОТЬЯХ

Как-то вернулся я из школы сильно проголодавшийся. Войдя во двор, сразу глянул в сторону кухни, из дымохода валил густой дым, значит, мама что-то готовит. Я зашел на кухню, дернул за рукав маму, хлопотавшую у котла.

— Есть хочу,— сказал я, как обычно, притопывая за-коченевшими ногами.

— Зайди в дом, сейчас положу тебе каши,— сказала мама, помешивая в котле.

Я в ожидании ужина вышел во двор, и тут вдруг открылась калитка, и показалась голова осла. Я с изумлением уставился на калитку. Судя по тому, как ссел недовольно мотал головой, он не желал входить во двор, но кто-то, видимо, здорово понукал его сзади, и он вынужден был зайти. Следом за ним показался человек в лохмотьях. А заключала шествие тощая вислоухая собака. Появление этих трех живых существ, похожих друг на друга, ошеломило меня. Осел был грязный, с клочковатой свалывшейся шерстью, из-под которой выпирали ребра. Потник на нем был замызганный, шея обвязана веревкой в сорок узлов, к ушам и хвосту привязаны разноцветные тряпки. Осел нехотя двигался, понукаемый хозяином, судя по тому, как он быстро мотал головой, его, видно, часто били по голове. Да от такого хозяина, подумал я, чего угодно можно ждать. И действительно, хозяин осла представлял жуткое зрелище. На грязной, с обвисшими клочьями волос голове сидела изодранная тубетейка. Халату его, наверное, было тысяча лет, на спине, рукавах, подоле торчала грязная вата. Ноги обмотаны грязными тряпками. Но самое удивительное было в том, что чем больше я присматривался к этому человеку, тем более занимательным он мне казался. Несмотря на сутулость, на чудовищную худобу, чувствовалось, что когда-то это был настоящий палван. И даже устрашающего вида шрам, пересекавший его высокий лоб, не мог окончательно изуродовать когда-то красивое его лицо. И я подумал: что же, какие несчастья

звергли этого могучего, некогда красивого человека в такое безысходное положение?

Собака была под стать своему хозяину. Изголодавшаяся, она казалась тихой, безобидной. Не то чтобы кого-то тронуть, она, видимо, лаять и то разучилась. И пугливо и затравленно смотрела на окружающих.

Эти три живых существа как бы говорили о том, что род всего сущего на земле в далеком прошлом был один. Их движения, состояние абсолютно были похожи, различие между ними состояло только в том, что были они — человек, осел, собака. Но мне при всей их одинаковости показалось, что осел был немного плутоватым; найдя во дворе клок сена, он тут же принялся его жевать, да еще и отворачивал морду от хозяина и собаки, чтобы те не увидели. Человек же с собакой были более преданы друг другу. Собака ни за что бы не взяла подачку, не получив на то разрешение хозяина.

Человек в лохмотьях взирал на все окружающее равнодушно, время от времени, однако, с большим чувством сострадания поглаживая своих товарищей по несчастью по голове. В такие минуты и осел, и собака прикрывали глаза и, опустив головы, помахивали хвостами, тем самым выражая сочувствие хозяину. Человек в лохмотьях грубым и дребезжащим голосом разговаривал с животными. И я разобрал в его бормотанье лишь одну фразу: «Вы ведь тоже твари божьи, лишь обидчики не обращают на вас внимания». А осел с собакой словно немymi взглядами отвечали ему: «Верно говоришь ты, господин наш, люди действительно наши обидчики».

Человек в лохмотьях, видимо забыв, зачем сюда зашел, с какой целью, возился с ослом и собакой посреди двора.

Но вдруг он, окинув испытующим взглядом двор, задержал глаза на мне и улыбнулся. Осел с собакой уставились на хозяина, тем самым они как бы давали ему понять, что при первом же знаке его готовы закричать или залаять. А человек в лохмотьях, все так же наивно улыбаясь, двинулся ко мне. Походка его была какой-то спешащей, дергающейся, а лицо оставалось кротким и равнодушным. Хоть мне и был этот человек интересен вместе с его необычными животными, но его приближение вызвало в моем сердце страх. Хотелось убежать, спрятаться, но в то же время было и страшно интересно, что сделает, что скажет этот человек. К интересу примешивалось и другое

чувство, чувство жалости. И я сам себе мысленно говорил: не бежать надо, не прятаться, а пожалеть этого человека, по возможности облегчить его участь.

Когда человек в лохмотьях приблизился ко мне, я, забыв о жалости и сострадании, чуть не вскрикнул от ужаса. Прижавшись к стене спиной, я решил, если он набросится на меня, защищаться, даже руку поднял, чтобы прикрыть голосу от возможного удара.

— Как поживаешь, племянник? — спросил человек в лохмотьях и положил тяжелые руки мне на плечи. — О племянник, да ты настоящим джигитом стал. Как тебя звали?

Мне хотелось высвободить плечо из цепких рук человека в лохмотьях, хотелось вскрикнуть, убежать, но приятный голос и беззащитная улыбка остановили меня. Более того, его улыбка и голос убедили меня, что он безопасен, что он не может никому принести вреда.

— Анвар, — сказал я и сразу же отвернулся, потому что от одежды человека в лохмотьях исходило такое зловоние, что невозможно было выдержать. И все-таки, несмотря на это, я уже чувствовал к нему расположение.

— Оказывается, отец твой пришел с фронта, — продолжал человек в лохмотьях и погладил меня по голове так же ласково, как своих осла и собаку, — но вы даже не сообщили мне об этом. Мать твоя вроде не была столь бессердечной, ведь я, когда вернулся с фронта, в первую очередь послал за твоей матерью. Где же она теперь, твоя мать?

Я хотел ответить, что мама на кухне, но тут она сама вышла. Вытирая на ходу руки, поспешила навстречу человеку в лохмотьях.

— Здравствуйте, Мехман-ака. — Мама, положив руки на плечи человеку в лохмотьях, некоторое время стояла так молча. — Почему перестали приходить к нам? Все глаза проглядела, ожидая вас, каждый день оставляю еды, думая, что придете. Как здоровье Турсун, как поживает сноха?

— Оказывается, муж твой приехал, а ты мне не сообщила, — сказал человек в лохмотьях.

— Давно уже, вы разве не слышали? — удивилась мама. — Я посылала Мазифу, она, видать, не сказала вам. — Мама смахивала пыль с одежды человека в лохмотьях. Она всячески старалась выказать внимание человеку в лохмотьях, это еще более усиливало мое удивление. — Здорова ли Турсун? А сноха?

— Я давно не видел их,— стветил человек в лохмотьях,— соскучился по Турсун, а чахоточную сноху твою ненавижу. Сестры Зульфия с Зеби тоже не приходят.

— Мехман-ака,— мама старалась по возможности успокоить человека в лохмотьях, не знала, куда усадить,— опять нездоровится вам. Как всегда зимой. Видимо, из-за холодов. Показались бы врачу или лекарю, может, они помогли бы...

— Да, все вы такие.— Вдруг лицо человека в лохмотьях стало печальным, обиженным:— И здорового человека запишете в дураки. У кого мне лечиться? У твоего лекаря Аглама, что ли? Он наглый безбожник, обманывает людей. А бог твой тоже несправедлив.

— Я вовсе не думаю так,— растерялась мама.— Когда вы уходили на фронт, были совершенно здоровы.

— У тебя сено есть?— спросил хмуро человек в лохмотьях.— Бедный мой осел голоден, если найдется сухая лепешка, дай и собаке тоже.

— Пройдите в дом, с радостью покормлю вас,— забормотала мама,— а сено есть, лежит еще с той поры, как заготовили для козы. Козе нашей волк перегрыз горло.

— Ты сказала, волк перегрыз горло?— В глазах человека в лохмотьях сверкнули искры гнева.— Какая коза, та, что с белой отметиной на лбу? Вот проклятый. Что натворил, уж больно красивая была коза, стройная.

— Пройдите в дом.— Мама, взяв человека в лохмотьях за локоть, повела в сторону крыльца.— Эй, Саифа, выйди-ка сюда, кинь ослу дяди Мехмана сена, а собаке дай хлеба.

Сестры, выйдя из дома, спустились во двор и принялись выполнять поручение мамы.

— Арифа, почему твои дочери не здороваются со мной?— пробормотал огорченно человек в лохмотьях.— Брезгуют мною, да?

— Мехман-ака, не обижайтесь, молодые они, еще глупые,— мама начала успокаивать человека в лохмотьях.— Зайдите в дом.

— Оставь, я не зайду в дом, посижу здесь, а то еще скажете после меня, что испачкал вашу курпачу.— Человек в лохмотьях взобрался на крыльцо.— Если есть хлеб или еще что-то, дай.

— Зайдите в дом, я варю кашу, поедите,— мама приглашала человека в лохмотьях зайти в комнаты,— вы не думайте о тсм, что запачкаете курпачу, да станет она жертвой за вас.

Но человек в лохмотьях уперся и ни за что не хотел подняться даже на айван. Мама смирилась с этим и ушла на кухню. Саифа сбросила с крыши сено, Магрифа подобрала его в охапку и положила перед ослем. Мама немного спустя вышла из кухни и, дую на кашу в глиняной каше, направилась к человеку в лохмотьях. Поставила перед ним еду. Человек в лохмотьях довольно причмокнул, какое-то мгновение рассматривал кашу, затем начал есть.

— Глянь, как мои дети едят,— сказал он, указывая на осла с собакой, и, обернувшись к маме, удовлетворенно улыбнулся.

— Ладно, поешьте сами досыта.— Мама отряхнула халат человека в лохмотьях:— Одежда ваша загрязнилась. Мехман-ака, как только съедите кашу, зайдите в дом. Я дам вам новый халат, сапоги, наденете.

— Пусть будет тебе счастье в жизни,— сказал человек в лохмотьях, тронутый маминым великодушием, и шмыгнул носом.— Ты умная. Даже сестры родные так не добры ко мне, как ты. Покойный дядя Мирза был хорошим человеком. Ты похожа на дядю Мирзу. Помнишь, как заставлял он тетушку Угул варить еду в двух котлах и раздавал сиротам да вдовам? Сайфитдин тоже хороший, зато Бурханитдин не годится, скупой человек. Они далеко, хочется увидеть их, но не добраться мне до Ташкента.

После того как он поел, мама ушла в дом, вынесла шинель отца, в которой он вернулся с фронта, поношенные сапоги и дала человеку в лохмотьях. Человек в лохмотьях, взяв одежду, улыбнулся, глаза его наполнились слезами.

— Пусть будет тебе счастье в жизни! — вновь поблагодарил он, и слезы выступили на его печальных глазах.

— Оставьте старое, постираю,— мама тоже заплакала.— Приходите почаще, не пропадите надолго.

Человек в лохмотьях встал с места; спустившись во двор, погладил по голове осла, собаку и вдруг, подняв голову, закричал так страшно, что все мы задрожали. Я метнулся к дому и, прижавшись к стене, неотрывно глядел на человека в лохмотьях. А сестры, как птенцы, в гнездо которых заползла змея, громко завизжав, бросились врассыпную. Человек в лохмотьях в этот момент, словно на него валилось дерево, вытянул вперед руки, защищаясь от невидимой беды.

Мама кружилась позле него, точно мотылек, бьющийся в лучах света.

— Вот надвигается!— Человек в лохмотьях начал хрип-

ло кричать:— Бегите! Бегите! Всех вас убьет. Вон, вон приближается!

— Мехман-ака! Мехман-ака! — Мама, ухватив за руку человека в лохмотьях, встряхнула его легонько.— Что вы говорите? Что надвигается? Не пугайте людей.

— Вон, не видишь, вон!— Человек в лохмотьях, указывая на небо, пятился назад.— Вон. Они стреляют. О, мой лоб! Мой лоб! — Он снова закричал, а затем, задрожав всем телом, рухнул на спину.

Стреляют?! Так вот от чего он прикрывался руками, от выстрела, нацеленного ему в голову! Мне и самому стало казаться, что в меня кто-то целится, и я невольно прикрыл руками голову. А человек в лохмотьях лежал посреди двора, прижимая одну руку к страшному, глубокому шраму на лбу, другой все еще указывая в небо.

Мне стало так страшно, что все поплыло перед глазами,— мама, сестры были как в тумане.

— Что же делать теперь, а?! — спросила растерянно мама, ни к кому конкретно не обращаясь.

— Что с ним? — шепотом спросил я.

— Дядя был на войне, тяжело ранен в голову,— объяснила мама,— из-за этой проклятой раны развилась у него болезнь, иногда случаются приступы...

Я все еще не отрывал руку ото лба — мне казалось, что это я был на войне и тяжело ранен в голову. Боль этого человека стала моей болью.

А Мехман-ака наконец стих и лежал неподвижно, лишь ревел его осел да лаяла собака. Мама окликнула сестер, но ни Магрифа, ни Саифа не появились. Тогда мама сама принесла в кассе воды и стала брызгать на лицо человеку в лохмотьях. Затем она легонько пошлепала больного по щекам, погладила по плечам:

— Мехман-ака! Вставайте!

«Как же может он встать,— думал я,— если обрушилось небо и придавило его?».

Но мамины хлопоты привели наконец человека в лохмотьях в чувство. Мама, взяв его под мышки, с трудом подняла. Мехман-ака долго и серьезно глядел на небо, затем вздохнул и повернулся к маме.

— Арифа! — сказал он заплетающимся языком.— Он выстрелил! Прямо в лоб выстрелил. Посмотри, кровь капает?

— О чем вы говорите? — спросила мама удивленно.— Нет никакой крови.

— Враги застрелили меня,— ответил челсвек в лохмотьях.— Я должен скорее уйти, добраться до своей лачуги.

Мама, видимо, ничего не поняла, стояла и молча смотрела на человека в лохмотьях. А Мехман-ака, пошатываясь, подошел к своим верным товарищам и, взявшись за уздечку осла, повел их на улицу. Мама вышла следом за ними, погладила осла и собаку по голове. Этим, видно, хотела сделать приятное человеку в лохмотьях. Но он даже не заметил этого жеста. Низко опустив голову, побрел он в сторону сая. Мама долго глядела ему вслед, а когда вошла во двор, мы увидели, что она плачет. Вытирая кончиком головного платка глаза, сказала с горечью:

— Единственный сын несчастного дяди оказался в таком положении. А какой был крепкий человек. Всею виной война, ранило его в голову, теперь вот он лишился рассудка.

И она отчитала моих сестер за то, что они неумно вели себя с больным человеком, что надо быть милосерднее, уметь сострадать.

И наконец она погладила меня по голове, давая тем самым сестрам понять, что я, их брат, вел себя более достойно.

А у меня перед глазами все стояла эта жуткая картина — больной, несчастный человек защищается в диком ужасе от неба, которое вот-вот обрушит на него невидимый выстрел, и враг, невидимый враг вновь расстреляет его.

И тут я впервые осознал, что война кончилась, но раны, нанесенные ею, заживут не скоро.

Душа моя долго не могла обрести покой после приступа, случившегося с человеком в лохмотьях. Я кричал по ночам, предупреждая Мехмана-ака об опасности. И мама не на шутку забеспокоилась о моем здоровье. Долгое время потребовалось, чтобы я успокоился, перестал бояться, что еще раз расстреляют Мехмана-ака.

Вот так отзвук войны коснулся и моей души.

ВЕСНА

Приближалась весна, о которой мечтал, которую ждал с нетерпением, порождавшим в душе моей неясное волнение. Радость, которую дарила мне школа, посвящая в тайну слов, раскрывая их сокровенный смысл — «папа и

мама», «Узбекистан», «Ленин»; семейный уют и покой, доброта учителя Мирали-ака помогли, а вернее, зародили во мне чувство любви. Благодарность к родителям, нежную любовь к Родине, трепетную священную любовь к вождю Ленину.

Но эта любовь сделала меня и уязвимым. Если люди не понимали моих чувств, это обижало меня, в такие минуты я стремился к одиночеству. И разные мысли одолевали меня, перед которыми я терялся. Мне казалось, я расту не по дням, а по часам, а взрослые не замечают этого, не считаются с моими желаниями, ограничивают мою свободу.

Мне почему-то казалось, что весна, которая вот-вот наступит, многое изменит во мне и в моих отношениях с людьми. И я стал ждать ее с волнением и мысленно окрестил — «моя» весна. Я ждал ее, призывал. Мне совершенно не было дела до других, ждали они или не ждали, пытались или не пытались сделать весну «своей». Похожая на меня — я таким представлял себя сам, — нежная и простодушная весна того года была моей, и точка. В ту пору я еще не задумывался, какая это по счету весна, с тех пор как существует человек, вообще — со дня сотворения мира, так же, как не знал, сколько на свете людей пытались сделать ее «своей», может быть, даже они жаждали этого сильнее, чем я. Ничего этого я не знал, но решил, что нынешняя весна будет «моей».

Обычно зима, прежде чем уступит место весне, особенно ярится, сопротивляется приходу тепла. Вот-вот наступит тепло, и вдруг опять — леденящий душу холод. Наши предки называли это словом «хут»¹. С наступлением поры хут в кишлаке кончается у хозяев сено, для скотины начинаются тяжелые дни, птицам приходится туго, люди потеснее усаживаются вокруг сандала. В пору хут нередко снегопады, поднимается холодный ветер, в течение короткого времени земля покрывается толстым слоем снега. Но вот небо проясняется, становится прозрачным, начинается таяние снегов. А по ночам холодный ветер вновь усиливается, утром на выступах крыш, на желобах, на кочерге, прислоненной возле тандыра, появляются желтоватые сосульки.

Накопившийся за домами и возле дувалов, под деревь-

¹ Хут — последние зимние холода, соответствуют периоду с 22 февраля по 21 марта.

ями снег, почерневший от долгого лежания, тает, заливая все кругом водой. Люди переступают через лужи, ручейки, прыгают по камням и кочкам.

Во дворах своя жизнь. Под стрехами чирикают воробьи, воркуют горлицы, возле очага под навесом стоят на одной лапке, прикрыв один глаз, а вторым следя, нет ли какой опасности, куры, уставшие без толку искать зерна. Вороны, раньше с удовольствием ворошившие мусор во дворе и возле дувала, улетели на окраину кишлака, на оголившиеся поля, в надежде найти там поживу.

Прежнее унылое мычание коров теперь звучало возбужденно и мятежно. Вот это «возбуждение» поднимало «хут» с земли в вышину. Пора хут имеет несколько ветров. Один — колючий, неуютный, от него лица и руки делаются задубевшими, грубыми, другой приносит мягкое дыхание весны, пробуждает в душах томление, безотчетное желание, заставляет ощущать, как где-то в глубине тела бродит какое-то теплое умиротворение. И запахи у поры хут разные. Запахи гниющего навоза, прошлогодних лежалых трав, мусора и запах возрождающейся к жизни земли, скорой поры цветенья.

Вот таким калейдоскопом предстала мне в тот год весна. И я со дня на день ждал ее прихода.

Утром и вечером дул сильный ветер, стуча по желобу на крыше, по куску железа на тандыре, раскачивал деревья, будто хотел вырвать их с корнем. Но ветер этот был уже теплым, мятежным, он был предвестником весны. Недаром на ветках деревьев набухли почки.

С приходом весны воды Кызылсая, разливаясь, выходят из берегов, ребята спускаются к берегу пасти скотину, а старики выходят прогуляться.

Нынешняя весна, говорили в кишлаке, будет неблагоприятной (о, неужели весна окажется неблагоприятной!). Примета такая есть — осенью деревья сбрасывали листья сначала с нижних ветвей, вот потому зима и затянулась на пятнадцать дней.

Зима прошла. Началась пора облаков. Небо два дня было окутано сизыми облаками, к вечеру они сгустились, потемнели. Мычание скотины, кудахтанье кур, раскачивающиеся под сильными порывами ветра деревья пробуждают в душе тревогу, ожидание чего-то неведомого.

Мама, сестры сидели вокруг сандала и разговаривали совсем как в зимние вечера. Вдруг особенно сильный порыв ветра оторвал от окна приклеенную вместо выбитого

стекла бумагу, и она забилась, затрепетала, словно что-то предвещающая. Я вскочил так, словно меня кто-то окликнул, позвал неведомо куда. И выбежал во двор. Во дворе было уже сумеречно, почти темно, едва различимы были тандыр, дувал, бывшее стойло для козы.

Моросил дождь, он все усиливался, порывы ветра бросили мне в лицо холодные брызги. Но мне не было холодно, я, ничего не замечая, все ждал чего-то.

И это скоро началось. Ветер становился все сильнее, темнота сгущалась, капли дождя делались крупнее, беспокойство мое возрастало.

Разные мысли теснили мне голову, но ответа на них я не находил.

Но вот сверкнула первая молния. Она была столь причудлива, что напомнила ветвь шелковицы. Молния сначала показалась мне алой, но нет, в ней, кажется, преобладал желтый цвет.

Вторая вспышка на небе была еще более могущественной и красочной. Тонкие огненные нити пронзили огромное небесное пространство, какое-то мгновение, подрагивая, освещали землю невысказанно яркой вспышкой, затем, так же внезапно, как и возникли, исчезли во мраке ненастной ночи. Я все еще стоял, замороженный этим величественным зрелищем, как вдруг мир потряс мощный, раскатистый грохот — то был гром, первый весенний гром, и мне казалось, что и вспышка молнии, и раскаты грома сначала возникают в моей крови, а уж потом в небе.

Почему именно в эту весну так потрясла меня стихия природы, ведь и раньше я наблюдал молнию, слышал гром? Не знаю. Но только я чувствовал, ощущал каждой клеточкой своего организма, что надвигающаяся буря пробуждает во мне неведомые, неясные чувства.

Мелкий дождь превратился в мощный ливень. Я весь промок, но не чувствовал холодных струй, не испытывал желания укрыться в теплой комнате. Когда вспыхивала молния, невольно руки мои тянулись к этой огненной ветви, но как только гремел гром, руки слабели и сами собой, словно в бессилии, опускались.

Грозная игра, происходившая, между молнией и громом, была захватывающей и в то же время возвышенной. Детским еще умом своим я пытался осознать мощь природы, мощь ее стихийного проявления, я был потрясен и заморожен открывшимся для меня заново чудом. Сколько раз мама, глядя на закат солнца или на грозное небо, вос-

кликала: «Гляди, сынок, какое чудо!» Я радовался вместе с мамой, но радовался ее радостью. А теперь мне эта радость открылась самому. И я понял маму по-настоящему.

Сам, я сам открыл величие и красоту окружающего мира, не понимая еще этого до конца.

Потом, много позже, я буду вспоминать этот ливень, эту весеннюю грозу и удивляться тому, как, оказывается, маленькая человеческая душа может быть отзывчива и восприимчива к прекрасному.

И так я стоял замороженный до тех пор, пока передо мной не возникла обеспокоенная Саифа.

— Анвар, что ты делаешь под дождем? — воскликнула она растерянно. — Мы же потеряли тебя! — Она крепко сжала мое плечо, удивилась еще больше. — Да ты весь промок, идем сейчас же домой.

— Не пойду, — сказал я и попытался высвободить плечо из рук Саифы. — Не пойду.

Я сопротивлялся, но Саифа подняла меня и понесла в дом.

— Что с тобой, тебя кто-нибудь обидел? — спросила мама, когда я расплакался так, словно меня лишили самого дорогого.

Мне не хотелось ей отвечать, да я и не знал, что ответить.

Когда отец вернулся из школы, мама рассказала ему о странном моем поведении.

Я уже лежал под одеялом у сандала.

Отец откинул одеяло, ласково спросил:

— Кто тебя обидел, сынок? Почему ты плакал?

— Никто не обидел, — объяснила Саифа отцу. — Стоял под дождем, пытался перекричать гром, я занесла его домой.

— Странно, — сказал отец.

И меня оставили в покое.

Слезы продолжали душить меня.

«Не понимают, они меня не понимают», — думал я горько. Но и сам не понимал, что со мной. Просто я встретил «мою» весну. Осознанно встретил, и приход ее потряс меня.

Утром, когда я вышел во двор, небо было чистым и ясным, деревья стояли умытые, с проклюнувшимися зелеными листочками. Все вокруг оглашалось радостным щебетом птиц.

— Здравствуй, весна! — воскликнул я. — Ты пришла? А вот и я!

«Здравствуй, Анвар! — казалось, ответила мне весна. — Вот я! Твоя весна!..»

* * *

Пришла весна. Моя весна!.. Начались первые дни моей весны. Ранняя весна... Однажды ранней весной я лишился частицы своего сердца — братишки Эркина. Я тогда испытывал тяжелую, очень тяжелую боль, сердце мое надолго, очень надолго погрузилось в печаль... Эта же весна, моя ранняя весна одарила меня несравненной радостью, сделала счастливым. В войне победил мой народ. Спас человечество от угрожающего ему рабства. Мое будущее счастье тоже зависело от этой победы. Победа! Победа была одержана.

А вот, весна, пора проводить и тебя, мою раннюю весну. Я не забуду ни страданий, ни тревог, ни радостных и счастливых мгновений, которыми ты нас так щедро осыпала. До свидания, моя ранняя весна! Возвращайся!.. Хорошо, если ты по пути растеряешь те муки и тревоги, на которые не скупилась, и оставишь в своей волшебной сумме только счастливые мгновения. Я встречу тебя радостным приветствием: «Добро пожаловать, моя весна!»

А пока прощай!..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРОЩАНИЕ

Душа моя трепещет при одном только упоминании о весне. И какой же мной овладевает восторг, когда наступает эта несказанная пора. И так — с той поры, как только я помню себя, осознаю в окружающем мире. Велико расстояние, которое прошел я с «мсей ранней весны», очаровавшей меня навеки.

Как хочется иногда вернуть ту весну, ведь это весна детства — самой прекрасной, самой трепетной поры жизни. Но, увы, человеку не дано этого, разве что в ностальгических воспоминаниях, в мечтах, которые память уносит в далекое, невозвратно далекое прошлое, которого, как бы того ни жаждал, даже не приблизишь... Почему-то та пер-

вая, осознанная мной как бытие, как жизнь, весна всегда ассоциировалась у меня со скакуном, завоевывавшим призы, очаровывавшим зрителей, приносившим славу наезднику и ушедшим в прошлое, оставив память по себе как нечто потрясающее и мимолетное. И что удивительно — не была «моя ранняя весна» безоблачной. Слезы? Их было достаточно. Переживания? Тяжелые, недетские — хоть отбавляй! Ведь трудную военную годину мы, дети, пытались уже как-то осознать, объяснить себе, как пытались объяснить и поступки людские, а они были разные. Мы тогда не могли еще понять, что такое подлость, предательство, зато точно знали — где несправедливость.

Но самое прекрасное в «мсей ранней весне» — Победа. Тогда я впервые столкнулся с высшим проявлением духа народа — в те потрясающие дни никто не смел быть несправедливым. Лучшее, что было в людях, выплеснулось вместе с ликованием. И не потому ли «моя ранняя весна» самая светлая пора в воспоминаниях? И не потому ли весна так властна надо мной?

* * *

День ласкового солнца. Орлы — гордые птицы — поднимают весну высоко в небо. Время пробуждения, торжества жизненных сил.

В один из таких дней в нашу покосившуюся и скрипуче поющую калитку кто-то постучал. Такой стук всякий раз доставляет мне радость, так как каждого гостя, пришедшего в наш дом, первым встречаю я...

Как обычно, я стрелой понесся по дорожке, по обе стороны которой цвели ирисы. Открыл завершающую, как всегда, нашу калитку. Передо мной стоял Насыр; по лицу его трудно было понять — то ли плакать он собирается, то ли смеяться. Об одном можно было догадаться — он готовился что-то сказать. Насыр, не переступая калитки, оглядел внимательно наш двор, неимоверно вытянув при этом шею, и справился:

— Мать дома?

— Дома! — ответил я с готовностью. — Позвать? — И молниеносно пролетев по дорожке, затормозил у летней кухни, где мама шумовкой вычищала в котле самое лакомое — прижарок.

— Что с тобой, откуда ты несешься? — повернулась она ко мне, не переставая работать руками.

— Вас Насыр-ака звет! — прокричал я и тут же повернул, чтобы унести снова к калитке.

Мама схватила меня за руку, придержала и первой направилась к гостю.

— Заходите, Насыр!

Мать взглянула на встревоженные глаза гостя и побледнела.

Тот не спешил переступить порог, топтался на месте и все не решался заговорить.

— Возвращался я сейчас с поля, — стал он наконец объяснять. — Возле Кизилсая увидел Махкама-ака и... — Насыр-ака вновь замолчал.

— Что случилось? Да говорите же скорей, — лицо мамы вдруг приняло страдальческое выражение, словно она уже догадывалась о приходе в дом несчастья. — Так что же с дядей? Что-то давно не появлялся...

— Махкам-ака... он лежит возле сая, собака с ослом — рядом. Собака не подпускает к нему.

— Он живой? — Голос мамы задрожал, лицо ее как-то сморщилось и постарело.

— Поторопитесь, — Насыр-ака уклонился от прямого ответа, старался не смотреть маме в глаза. — Я сообщу домашним...

— Домашним? — повторила мама. — Бедной дочери будет трудно...

Насыр-ака резко повернулся и через минуту скрылся за углом. Мама еще какое-то время смотрела вслед ему, словно не верила в то, что он только что был здесь. Затем она кинулась к веранде с криком:

— Марифа, Саифа! Где вы, выходите! Дядя... — Мать не могла больше выговорить ни слова. Она стояла в каком-то оцепенении и ждала, когда покажутся мои сестры, а увидев их, не выдержала и зарыдала.

Сестры вихрем вынеслись из дому, обняли маму.

— Что с вами, мамочка? Почему вы плачете? — спросила Марифа-апа и, достав платок, принялась вытирать слезы на лице мамы.

Саифа-апа, ласково поглаживая маму по спине, сказала:

— Кажется, бог вас создал для слез. Плачете и за себя и за других. Господи, да разве можно быть такой плаксою?

— Не трещи, — сказала с обидой мама, — ведь дяди... лишились...

Сестры мгновенно смолкли, мне показалось, они не знали, как реагировать на эту черную весть — ведь дядя наш был не в своем уме, он ужасно страдал...

— Открой сундук,— сказала мама Марифе,— возьмем на всякий случай для похорон белую материну. И поспешим.

Мама то быстрым шагом, то бегом устремилась в сторону Кизилсая. Сестры за ней, а я за сестрами. Сколько раз вот так, в тревоге и недоумении, я следовал за ними навстречу какому-нибудь печальному событию. Что увижу я теперь? Умершего дядю?

Смерть... я однажды видел ее совсем рядом; мой маленький брат скончался на моих глазах! И вот снова надо пройти через такое же потрясение. Я бежал, задыхаясь, хотя мне вовсе не хотелось видеть зрелище смерти, испытывать душевную боль, видя горе родных, но все происходило помимо моей воли. Человек в лохмотьях — таким всегда был в моем представлении дядя Махам. Человек в лохмотьях с отсутствующим взглядом и блаженной улыбкой, он олицетворял для меня слово «ужас». И в то же время у меня с ним уже было связано представление о добре.

Может быть, и для мамы он был чем-то большим, чем безумный, страдающий нищий? А иначе разве бы ее так потрясло сообщение о его смерти? Сейчас она бежит, не видя ничего вокруг, точно сама лишилась рассудка.

О господи, только бы она не споткнулась, иначе упадет и разобьется. Вот и солнце окончательно скрылось за горизонтом, и мир утратил краски, словно сейчас, когда человек в лохмотьях покинул землю, они стали ненужными. Мама вдруг резко остановилась, приблизилась к саю, сняла калоши и стала омыwać ноги, от брызг платье ее стало мокрым, и я забеспокоился, что маме станет холодно. Мама протянула руку куда-то в сторону, словно говоря — это там.

Сначала я ничего не мог разобрать: в сумерках как-то темные пятна. Но, присмотревшись, понял, что это собака и осел. «А где же человек в лохмотьях?» — подумал я со страхом и прижался к матери. Мама все так же протягивала руку, и я увидел его: дядя лежал между собакой и ослом. Мама направилась в ту сторону, мы за ней, но, когда мы приблизились, собака злобно зарычала и оскалила зубы — она никого не подпускала к своему хозяину. Но самым удивительным было для меня то, что и осел вел

себя агрессивно, он поворачивался к нам задом и взбрыкивал, норовил лягнуть.

Собака и осел производили странное впечатление. Глядя на их ободранную и висящую клочьями шерсть, на выпирающие из-под кожи кости, я думал: «Откуда же они, эти несчастные животные, берут еще силы рычать и лягаться?!»

Человек в лохмотьях спокойно лежал на драной курпаче, будто только что уснул после тяжелой работы. Рваная калоша валялась рядом. На его истощенном и уже безжизненном лице все еще оставалась блаженная улыбка, словно он был несказанно счастлив в этой жизни.

— Война забирает и в мирное время,— вдруг услышал я тихий голос мамы.

«Война? При чем тут война? — подумал я.— Ведь Победу мы отпраздновали!»

Скромно и тихо лежал он на курпаче, а я стоял недалеко и никак не мог поверить в то, что никогда уже не увижу привычной картины: осла, собаку и бредущего следом человека в лохмотьях.

Не знаю, о чем думали мои сестры, но и они стояли молча.

И вновь мамин голос вывел нас из оцепенения.

— Господи,— воскликнула она раздраженно,— дадут ли наконец эти твари подойти к человеку! Ведь покойнику надо подвязать подбородок и перевязать ноги, чтобы, не приведи аллах, не перекрестились... а то других за собой потянет.

Мама вновь рванулась к Махкам-ака, но осел и собака и на этот раз не подпустили ее к покойнику. Собака, скаля старые желтые зубы, рычала, время от времени поворачивая голову к ослу, словно ища у него поддержки. И тогда осел фыркал и взбрыкивал, выражая полную готовность защитить хозяина.

Мама все больше нервничала.

— Мама...

Мы не знали, как и чем ей помочь.

Она беспомощно озиралась по сторснам, и тогда я робко предложил:

— Позвать отца?

Но мама ничего не ответила и лишь приложила палец к губам: дескать, слышите?

Мы действительно услышали цокот копыт. Вскоре пока-

зался всадник — огромный, как дэв, Юлдаш-ака, сторож с бахчей.

— Что случилось? — удивился Юлдаш-ака. — Почему вы здесь?..

— Бедный дядя... — мама вновь заплакала. — Видно, судьба... С осени нездоровилось. И вот эти проклятые твари не подпускают нас...

— Много развелось диких собак, — проворчал Юлдаш-ака. — Некоторые и на людей нападают.

— Юлдаш-ака, прогоните их. Слыханное ли дело, не можем забрать покойного.

Глаза Юлдаша-ака налились злостью. Он соскочил с коня, вытащил из-за голенища сапога камчу и, словно собираясь отомстить злейшему врагу, ринулся на собаку. Собака зарычала, но не успела отскочить, и в следующее мгновение лоб ее рассек удар камчи. Собака завyla и волчком завертелась на месте, а удары сыпались на нее яростно и беспощадно.

Собака, словно шар, каталась по сухой траве, оставляя на ней следы крови.

Сердце мое сжалось — сторож сейчас забудет ее на смерть.

— Хватит, не бейте, не бейте! Мама, скажите, пусть не бьет! — закричал я, хватаясь за подол матери.

Но она была занята своим горем, ей сейчас было важно подойти к человеку в лохмотьях и совершенно все равно, как Юлдаш-ака отгонит собаку. А тот все еще в иступлении пинал пса, точно мяч. Осел, судя по всему, пришел в ярость оттого, что расправляются с его товарищем по долгим скитаниям, и что было сил лягнул сторожа. Но тут же получил страшный удар камчой между глаз; зашатался и ошарашенно замотал головой.

— Мама, остановите его, остановите! — зарыдал я.

Но Юлдаш-ака и сам уже прекратил экзекуцию, видя, что животные точно парализованы. Я закрыл лицо руками. А когда решился посмотреть на то, что происходит, увидел — мама и сторож хлопчут возле человека в лохмотьях.

— Подождите, я пришлю арбу! — сказал сторож.

Он вскочил на коня и вскоре растворился в сумерках.

Мама же обессиленно опустилась на землю у ног покойника и уставилась невидящим взглядом в курпачу, на которой лежал умерший. Я присел рядом и так же, как мама, уставился в одну точку, душа моя и сознание из-

немогали под бременем обрушившихся на меня событий; я не знал, кого жалеть больше, павшего ли жертвой войны человека в лохмотьях или несчастных животных, пострадавших от человеческой злобы.

Потом, когда я стал взрослым и смог уже анализировать события, то, вспоминая сцену у Кизилсая, думал о том, а как бы поступил этот сторож с ребятишками, пробравшимися за арбузами на бахчу? Неужели тоже бил бы камчой?!

Растерзанные животные недвижно стояли в сторонке. Я никак не мог понять — за что их наказали.

А вдруг они сдохнут?! Мама будет оплакивать нашего дядю. А я еще и осла с собакой — верных его друзей!

Наконец-то приехали на арбе наши родственники. Поднялся невообразимый шум — вопли, рыдания, под которые подняли и уложили человека в лохмотьях на арбу.

И мы тронулись. Тут произошло невероятное — стоявшие недвижно, словно бездыханные, собака и осел, шатаясь, потащились следом за арбой, увозящей их хозяина.

— Да что же это за наказание? — воскликнула мама. — Опять эта ужасная собака и этот жалкий осел!

Кто-то из родственников спрыгнул с арбы и принялся палкой отгонять животных. Те замерли на месте. Но, как только родственник уселся на арбу и мы двинулись, вновь продолжали свое шествие.

И тогда кто-то хлестнул лошадь, она пошла быстрее, затрусилась рысцей. Осел с собакой понемногу отстали — они не могли двигаться так быстро, истощенные голодом и обессиленные от побоев. И несчастные скоро пропали с глаз.

Арба остановилась возле маленькой мечети верхней махалли. Со двора вышли несколько женщин и мужчин и с воплями окружили арбу. Мне показалось, что рыданиями наполнился весь кишлак, небо и весь мир.

Я стоял в сторонке, не зная, что делать, когда ко мне подошла девочка лет десяти, удивительно похожая на человека в лохмотьях.

— Что же мне теперь делать? Отец умер. У меня нет ни братьев, ни сестер, никого... Что со мной будет?

Девочка заплакала.

— Не плачь! Не плачь! — я стал утешать ее. — Я же есть... Давай я буду твоим братом... Только не плачь...

— Ой, отец! — Девочка оттолкнула меня и бросилась к моей маме: — Тетя, что я теперь буду делать?! Отец умер.

— Нет, не умер,— говорила мама, прижимая ее к себе.— Милая моя, хорошая, не плачь! Иногда люди долго спят. Отец твой устал, вот и уснул. А скоро он проснется. Обязательно проснется.

Я смотрел на маму и не понимал, зачем она так говорит. Разве тогда, когда человек просто засыпает, так плачут?!

Покойника занесли в дом. Нас, детей, поместили в соседней комнате, уложили, велели спать. Но никто из нас не мог уснуть.

А девочка время от времени выходила из комнаты и спрашивала у моей мамы:

— Ну что, отец еще не проснулся?!

И столько было надежды в ее словах!

Став взрослым, я сам столкнулся однажды с необходимостью обмануть ребенка, обмануть во имя его же спокойствия. Но не смог. Я вспомнил эту девочку и подумал, а каково ей было, когда она все-таки узнала правду?!

ПРЕДАННОСТЬ

После кончины человека в лохмотьях в нашем доме выдерживали траур. Я часто заставлял мать плачущей. И однажды рассердился на нее. Почему она все время плачет? Разве не ясно отец сказал ей — слезы иссушают, уносят здоровье? Почему она нисколько не думает о себе, да и о нас тоже? Ведь она совсем перестала смеяться, перестала рассказывать прекрасные сказки, а мы тоскливо ходим за ней по двору и ждем, когда же она отойдет, снова станет внимательной к нам и веселой.

Но вот однажды мама сломала семь веточек туютника, обернула с одного конца ватой и обмакнула в хлопковое масло.

— Пойдем зажжем свечу на могиле покойного дяди Махкама,— сказала она, обращаясь ко мне, словно не было у нее человека ближе.

Я был горд, что мама считает меня уже взрослым, помощником, и охотно согласился.

Когда мы подошли к кладбищу верхнегузарской махалли, на землю уже опускался вечер. Кладбище утпало в зелени, было чистым, ухоженным, и только некоторые осевшие могилы наводили на меня страх — мне казалось, что провалившаяся земля придавила покойника и ему там, в могиле, тяжело, неудобно.

Я почему-то приподнялся на цыпочки и так, осторожно, почти крадучись, шел по заросшей по обе стороны комочками тропе. Тишина в надвинувшихся сумерках казалась еще более значительной и таинственной.

Впервые в душу мне закралось сомнение — зачем же люди рождаются, если они должны умереть?! И вдруг мне захотелось броситься обратно. Вон, прочь отсюда! Зачем я здесь? Я-то ведь никогда не умру!

— Анвар! Сынок! — Мамин голос вернул меня к действительности. — Сынок, посмотри, что это?

Мы осторожно приблизились к могиле дяди. На еще свежем холме лежала, свернувшись в клубок, собака.

Но почему пес, так злобно не подпускавший нас к хозяину там, у Кизилсая, теперь лежит молча и даже не шелохнется?

— Мама... — сказал я, — что здесь делает собака?

— Пошла вон, чтоб ты околела... — мама, наверное, хотела грозно прикрикнуть на пса, но у нее вместо крика получился шепот.

Собака продолжала лежать.

Тогда мама подняла ком земли и легонько запустила в животное.

— Мама, не трогайте, — сказал я, — пусть лежит.

Мама взяла палку и ткнула ею пса, затем подняла на меня взгляд и прошептала:

— Сдохла...

Я уставился на маму и вдруг закричал:

— Сторож бил ее, вот она и умерла! Он злой, нехороший!..

Мама печально покачала головой:

— Нет, сынок, она умерла не от ран, а от тоски. Собака не смогла жить без своего хозяина.

Возвращались мы большой дорогой. Когда приближались к мечети, то слышали крик осла, похожий на железный скрежет. В том доме, где девочка осталась ждать своего отца, оставленный на произвол судьбы осел кричал от тоски и голода.

— Мама, — сказал я и взял ее за руку, глядя в ту сторону.

— Тоскует по хозяину. Да и голодный, некому его кормить...

Мама, не останавливаясь, шла дальше, а я бежал рядом. Я все пытался остановить ее, чтобы предложить про-

стой выход — осла-то надо забрать к себе, вот и все. Но мама не слушала ни хныканья моего, ни моих рассуждений, и мы все удалялись и удалялись.

Мама и меня не пустила к ослу, а ведь я бы его пожалел. Ну что с того, что он грязный и тощий, я бы обнял его за шею, объяснил ему, что не все люди такие, как сторож Юлдаш. Я бы... Но тут мы пришли домой, и расспросы сестер прервали мои размышления.

Однако собака, свернувшаяся клубком на могиле хозяина, тоскливо кричащий осел, сам их хозяин, человек в лохмотьях, не выходили у меня из головы. Я впервые столкнулся не только с человеческим горем, но и страданием животных.

Так, значит, осел и собака тоже могут любить — и хозяина, и друг друга?! Значит, они ничуть не хуже, чем мы?! Почему же тогда люди бьют их, пинают, морят голодом?! А я? Что сам я сделал для животных? Ничего. Но мне вдруг захотелось что-нибудь сделать, что-то значительное, такое, чтобы люди обратили на это внимание, чтобы они подумали о тех собаках, ослах, которые ежедневно в чем-то помогают нам, но которых мы не хотим понимать. Так что же мне сделать?! И вдруг мне в голову пришла мысль: а что, если я вылеплю их обонх из глины? Я буду стараться — ведь учитель говорил, что я хорошо рисую и леплю, мои глиняные птицы даже стоят в пионерской комнате. Вылеплю фигурку и человека в лохмотьях, и осла, и собаку и стану показывать всем в кишлаке. Я изображу их страдания, безысходное горе, и тогда люди, быть может, их пожалеют.

Сестры позвали меня ужинать, но есть мне ни капельки не хотелось. Меня охватило такое волнение, что я испытывал внутреннюю дрожь, а сердце билось часто-часто.

Ведь мама не раз говорила, что первый человек был создан из глины. Земля родила первого человека. Я тоже сделаю фигурки из глины и этим, быть может, их увековечу, сделаю такими же бессмертными, как сама земля.

Я решил немедленно приступить к осуществлению своего замысла и помчался на окраину кишлака: там, в овраге, была замечательная глина, ею пользовался наш гончар Эркин-ака, да и мы, мальчишки, старались брать глину только там. Уже стемнело, но я хорошо знал все тропинки вокруг и мог даже с закрытыми глазами найти то место, которое искал. Вернувшись домой, круто замесил глину и принялся за дело. Домашние, так и не дозвавшие-

ся меня ужинать, легли спать, а я сидел на айване и при свете керосиновой лампы мям глину. Мне казалось, что сквозь мои пальцы текут судьбы человека в лохмотьях, собаки и осла. Они то рвутся, то тесно переплетаются, смешиваются, становятся единой массой. Я думал о том, что надо сделать так, чтобы фигурки мои были словно живые, во всяком случае, точь-в-точь такие, какими я их видел, знал.

Было уже за полночь, луна поднялась высоко и заглядывала ко мне на айван, а я все трудился точно одержимый. На меня словно что-то нашло, но тогда я еще не знал, что имя этому «что-то» — вдохновение.

Наконец работа была закончена — человек в лохмотьях вел в поводу осла, за ними плелась собака; изможденные и убогие, они всем своим видом как бы пытались поведать миру о своем горе.

Мне захотелось оживить фигурки, вдохнуть в них жизнь. Соседская бабушка, Мархамат-апа, часто, когда у нее что-нибудь не ладилось, шептала: «О аллах, помоги мне». Может, и мне позвать на помощь аллаха? Эх, жаль, его нет!

Я аккуратно пристроил фигурки на айване сушиться и побрел спать. Скорее бы наступило утро! Я буду ходить по улицам кишлака и показывать всем мальчишкам свое творенье. И взрослым буду показывать. Только сторожу Юлдашу-ака не покажу.

Разбудили меня веселые солнечные лучи. Я вскочил с ощущением, что меня ждет нечто важное и радостное. Вприпрыжку выскочил на айван и обмер — фигурок моих не было. Выбежал во двор, решив, что их, может, кто-нибудь вынес на солнышко. Но и там — ни человека в лохмотьях, ни его верных друзей.

Мама разжигала огонь в очаге, сестры собирались на работу.

— Саифа-апа! — крикнул я, всхлипнув.

— Чего орешь! — обернулась она. — Обжегся, что ли?

— Отдайте, отдайте мне их!

— Что он просит? — удивилась Марифа-апа.

— Мои фигурки!.. Они были на айване!..

— Да вон они, твои каракатицы, я их бросила в тандыр, — проговорила Саифа.

— В тандыр?! — закричал я. — Махкама-ака, и собаку, и осла бросила в тандыр? — Мне стало жарко, точно это я

плавился от огня, а не мои глиняные фигурки.— Ты убила их! Зачем ты убила их?

Я подскочил к сестре и давай колотить кулаками по ее крепкой спине. Мама подбежала ко мне, схватила за руки:

— Что случилось?

— Она... она...— я не мог ничего другого вымолвить, захлебываясь слезами.

Саифа презрительно скривилась.

— Налепил каких-то чучел, я их и выбросила. Надо бы табибу его показать, стал какой-то бешеный.

Мама глянула на нее строго и сказала:

— Нельзя так, Саифа! Он ведь старался.— Потом погладила меня по голове, присела на корточки и улыбнулась:— Я рада, что у тебя доброе сердце, сынок!

ОБИДА

В нашем кишлаке наконец открылась настоящая школа. Это было событием.

Но еще большим событием — для меня, конечно, — было то, что директором ее назначили моего отца. Я ужасно гордился: ведь учитель, а тем более «главный» учитель — самый уважаемый человек в кишлаке.

Я заметил, что в нашей махалле люди как-то особенно уважительно стали здороваться с мамой. А ко мне иногда обращались весьма возвышенно: «Эй, сын многоуважаемого Усмана-домлы!»

И только отец оставался спокоен и был, казалось, совершенно равнодушен ко всему. По-прежнему уходил рано, а возвращался поздно, главным в его жизни была работа.

Но вот однажды он явился домой раньше обычного. И не один. В калитку к нам вошли колхозный агроном Алмат-ака и учитель Миркашиф-ака.

Миркашифа-ака я знал хорошо, он приходил часто к отцу по делам, а вот Алмата-ака видел раза два всего-то, не больше. Но он мне понравился — голубоглазый, белолицый и особенно стройный в своей старенькой военной форме. Особенно же я почувствовал к нему расположение, когда он дружески потрепал меня по волосам и как равного спросил:

— Ну как дела, сын Усмана? — и засмеялся.

Я было охотно приготовился ему рассказывать о своих делах, но отец подхватил своих друзей под руки и повел

в мехманхану¹. Я, конечно, поспешил за ними. Однако, к моему удивлению, отец сказал:

— Сынок, иди поиграй во дворе.

Вот так так! В кои-то веки пришел рано, да еще таких интересных людей привел, и отправляет от себя. Никогда не было такого. Напротив, как только выдавалась свободная минута, зсвет, бывало, меня, точно обходиться не может без своего сына.

Видя мою растерянность, веселый Алмат-ака сказал:

— Э, Усман! Сын твой уже мужчина, пусть и он примет участие в нашей пирушке.— Посмотрел на меня, подмигнул и добавил:— Вот решили обмыть назначение твоего отца.

— Пусть сстается,— поддержал агронома и домла; и они весело и деловито стали рассаживаться за дастарханом.

Отец извлек из внутреннего кармана пиджака одну бутылку, из кармана брюк — другую, затем сам принес пиалы, хлеб и несколько луковиц.

— Закуска,— объявил он.— А потом жена шавлю подаст.

Алмат-ака радостно потер руки, откупорил бутылку и разлил по пиалушкам. Он был оживлен, весел, и только странным мне показалось, что руки у него как-то дрожали.

— С повышением тебя, Усман, с хорошей должностью,— сказал Алмат-ака, обращаясь к отцу, и первым поднес пиалу к губам.

Я смотрел на отца. Он не был так оживлен, как Алмат-ака, наоборот, взял в руки пиалу как-то задумчиво, пить не спешил, и лицо его выражало не радость и удвольствие, а сморщилось, словно ему предстояло выпить рыбий жир. Наконец он стремительно опрокинул содержимое пиалы в рот, еще больше скривился, а затем шумно выдохнул.

Я почувствовал, как мне свело скулы от отвращения. «Ну и гадость, наверное,— подумал я.— Зачем же они пьют эту жидкость?»

А мужчины закусили хлебом, хрумкая луком, и, ласково взглянув друг на друга, хором пропели: «Хорошо пошла!..»

Я ничего не понимал. «Как же «хорошо пошла», когда все вы морщились и кривились и носы воротили от пиал?!»

¹ Мехманхана — комната для гостей.

За дастарханом же уже завязалась оживленная беседа. Я не столько слушал, сколько смотрел. Глаза у всех маслянисто блестели, мужчины дружески хлопали друг друга по плечам, весь их вид говорил о том, как им хорошо вместе.

Неутомимый Алмат-ака вновь наполнил пиалы.

— А теперь выпьем за то, что мы — дома, — сказал он и одернул гимнастерку. — Оказывается, если сумеешь обмануть смерть, можно вернуться и из ада.

— Да, да, — подхватил отец. — Сейчас страшно вспомнить, через что мы прошли. — И он уже куда более решительно, чем в первый раз, выпил.

Не успели они поставить пиалы на дастархан, как Алмат-ака наполнил их снова.

— За возвращение надо выпить капитально, — заявил он. — Вспомните-ка, сколько солдат не вернулось! За них выпьем!

Миркашиф-ака и отец не возражали. Но меня удивила не столько поспешность агронома, сколько то, что теперь они уже пили не морщась. И я было засомневался, действительно ли невкусно то, что они пьют. Может, они морщились, чтобы меня обмануть?

За первой бутылкой последовала вторая. И с каждой новой пиалой разговор за дастарханом становился все более шумным и безалаберным. Я уже ничего не понимал — гости перебивали друг друга, совершенно не слушали отца. И к тому времени, когда мама внесла касы с шавлей, Миркашиф-ака уже не сидел, а полулежал возле дастархана, обняв подушку. Алмат-ака еще сидел, но лицо его из белого превратилось в багровое, голубые глаза налились кровью.

Мне стало не по себе. От того приятного, веселого человека, что недавно потрепал меня дружески по волосам, не осталось и следа. Не лучше выглядел и отец. Взгляд его стал мутным и каким-то чужим, говорил он заплетающимся языком, то и дело сбиваясь с мысли.

Двумя бутылками, однако, не обошлось.

Алмат-ака оказался человеком запасливым. Я так и не понял, откуда он ее извлек, но очередная бутылка появилась на дастархане.

В комнате было душно, стоял резкий сивушный запах, но трое «друзей» уже не замечали ничего. Мне даже показалось, что они не замечают и друг друга.

Я вскочил и выбежал на айван. Мне хотелось плакать.

Вдруг двери мехманханы распахнулись, оттуда вывалились гости — они едва держались на ногах. Взмокшие, слипшиеся волосы, блуждающий взгляд... Я с ужасом ждал появления отца — неужели и он вот так же будет шататься и чуть ли не падать, отец, которого я привык видеть всегда подтянутым и строгим?!..

И он вышел...

В тот день я возненавидел пирушки, где пьют такую вонючую жидкость.

ХАМАЛ¹

Прошел год с той поры, как я, надев через плечо лямку сшитой мамой школьной сумки, впервые вприпрыжку отправился в школу. В тот день мне хотелось всему миру сообщить об этом важном событии. Школа! Сколько тайны и притягательности было для меня в этом слове. Отправляясь в школу, я ждал только чудес, праздников и веселья.

Но оказалось, что школа — это не только тайна, не только радость, но и труд, часто сопряженный с разочарованиями и огорчением. И если бы не Мирвали-ака — мой первый учитель, кто знает, не разлюбил ли бы я школу совсем? Мирвали-ака как-то незаметно и ненавязчиво вошел в мою жизнь. Как это удалось ему, не знаю, но он стал для меня примером для подражания. Я хотел быть похожим только на него, Мирвали-ака заслонил даже авторитет отца.

Когда кончился учебный год и я понял, что на целое долгое лето мне предстоит расстаться с учителем, я разревелся от огорчения. Да и с друзьями мы будем видеться не так часто. Нет, мне решительно не нравилось, что существуют летние каникулы.

Правда, лето у меня было насыщенным, и, если честно признаться, я позабыл о своих огорчениях. Я отдался на волю безмятежного безделья, более того, иногда, когда мы с мальчишками убегали в поле или в горы, мне в голову приходила мысль о том, что это даже хорошо, что ни о чем не надо думать — ни о том, чтобы писать, ни о том, чтобы читать. Живи себе, что вольная птица.

Но вот в один прекрасный день отец показал мне на отрывной календарь.

¹ Х а м а л — первый теплый ветер весной.

— Анварджан, сынок, — сказал он, — а знаешь, сколько дней осталось до первого сентября?

Первое сентября! Мгновенно всплыли в моей памяти все мои друзья, мой домла Мирвали-ака, класс, в котором так уютно себя чувствуешь, особенно когда старательно сделаны все уроки.

Я помчался к своему другу Турдыбаю, чтобы напомнить, что через неделю мы идем в школу, и вдруг узнал от него странную новость. Его отец откуда-то узнал, что нас во втором классе будет учить другой учитель — новый.

Сообщение это меня потрясло. Как это — новый? Разве может кто-нибудь заменить Мирвали-ака? Нет, нет, не хочу, не буду ходить к другому учителю! Лучше снова пойду в первый класс к Мирвали-ака.

Вечером отец мне сказал, что пока еще не все решено.

Целую томительную неделю ждал я, когда же наконец выяснится, правду ли сообщил мне Турдыбай.

Но вот и первое сентября. Утром кишлак преобразился — по всем улицам шли дети с тряпочными школьными сумками, были, правда, и счастливицы, обладатели черных блестящих портфелей. Но их были единицы.

Турдыбай, Миравлод и Абдурасул поджидали меня у своих калиток. Не успели мы сойтись, как страстно заспорили о том, стоит ли идти учиться к новому учителю. Ребята осторожно предложили смириться, я же во все горло доказывал, что учиться надо только у Мирвали-ака, потому что это самый замечательный человек на свете.

— Нет, нет и нет, — кричал я самозабвенно, — пусть нам отдадут нашего домлу, или мы уйдем из школы!

На линейке к нам подошел незнакомый человек, оглядел нас внимательно и объявил:

— Я ваш учитель, зовут меня Абдулла-муаллим. Прошу всех пройти во второй класс.

Все сорвались с места и, крича и толкаясь, кинулись занимать места за партами. Я же остался стоять на месте. Я не знал, как поступить. Мне не хотелось идти во второй класс. Вдруг я ощутил плечом ласковое прикосновение и почувствовал, что меня увлекают к входу.

— Что же ты, малыш? — Голос нового учителя был ласковый.

Я покорно вошел в школу.

А в это время в нашем классе царило настоящее столпотворение — мальчишки щипали друг друга, дергали девчонок за косички, делили места за партами. На приход

учителя, похоже, никто не обратил внимания. Абдулла-ака прошел к столу и спокойно наблюдал за нами. Я ждал, что вот-вот терпение его лопнет и он прикрикнет на нас, призовет к порядку. Но неожиданно Абдулла-ака улыбнулся и весело проговорил:

— Вижу, что за лето вы здорово выросли, набрались сил. Это очень хорошо, надеюсь, так же энергично вы будете и заниматься!

Класс затих и с интересом стал прислушиваться к словам нового учителя. А Абдулла-ака уже обходил ряды и для каждого мальчика и каждой девочки находил доброе слово.

Мы и сами не заметили, как знакомство перешло в урок. Я тоже достал учебник, тетрадь, позабыв о недавних клятвах — ни за что не посещать уроков нового учителя. Прозвенел звонок. Но никто не шелохнулся — так интересно было слушать Абдулла-ака, — пока он не сказал: «Ну, идите, дети, отдыхайте». Я встал и вслед за друзьями нехотя поплелся из класса.

Когда начался второй урок, я решил как следует рассмотреть нового учителя. Да он был настоящим палваном! Высокий, плечистый, с сильными руками. Какой же мальчишка не мечтает стать богатырем? Я подумал, что щедушный Мирвали-ака внешне здорово проигрывает Абдулле-муаллиму, но тотчас отогнал от себя эту мысль.

Вечером я начал было рассказывать отцу о новом учителе и вдруг растерянно замолчал: вспомнил о Мирвали-ака — о том, как этот уже немолодой человек играл с нами в куликашки, как он брал мою руку в свою ладонь и водил ею по строчкам, чтобы буквы были четкими. Такой же четкости он добивался от нас в каждом деле. Каждый день Мирвали-ака встречал нас по утрам у школы и ни разу не изменил своей привычке. «Ну, цыплята мои, — обычно говорил он с улыбкой, — все собрались? Тогда — добро пожаловать в класс». А сколько раз случалось, что он приносил из дома лепешки и делил их на равные куски. И мы оживлялись, откладывали буквари и радостно тянули руки к хлебу. Это он впервые сбъяснил нам, что понятия «мать», «отец», «кишлак», «Родина» — неделимы, что это — одно прекрасное целое.

Но вот пришел другой человек, новый учитель, и я в первый же день очарован им, забыл о Мирвали-ака. Я не видел его весь день и даже не спросил, где он, что с ним!

Ведь я считал его своим самым лучшим другом, я любил его, старался подражать ему даже в мелочах.

— Папа, а где Мирвали-ака?

— Он перевелся в другую школу, поближе к кишлаку, где он живет.

На другой день я сидел на уроках Абдуллы-ака и совершенно ничего не воспринимал. Я настраивал себя критически, мне хотелось найти в новом учителе недостатки, чтобы иметь основание относиться к нему с прохладцей или, в крайнем случае, равнодушно: и тем самым, мне казалось, я сохранил верность нашей дружбе с Мирвали-ака. Ну, учитель и учитель... Но опять произошло чудо — к концу занятий я вдохновенно решал задачи, составлял предложения и смотрел на Абдуллу-домлу восторженным взглядом, словно на волшебника.

Шли дни за днями. Я устал сравнивать поселившихся в моем сердце двух учителей, перестал выискивать слабости у Абдуллы-ака, я одинаково полюбил их обоих.

Однажды весной увидел, как мама, выйдя во двор, вдруг вскинула руки, точно определяя силу ветра, несколько раз глубоко и радостно вдохнула свежий воздух и сказала:

— Наконец-то подул хамал. Завтра утром лопнут почки, завтра начнется цветенье.

— Мама, а что такое хамал? — спросил я.

Она на минуту задумалась, а затем сказала:

— Это — весенний ветер... Это такое время, сынок, когда в природе уже все-все готово ожить, зацвести, пойти в рост, но не хватает еще самой малости — ласки, тепла. И вдруг подует хамал — теплый, веселый ветер. И сразу лопаются почки, все зацветает.

Сейчас я с грустной радостью вспоминаю о той поре своей жизни, когда я не знал, которому из двух прекрасных людей отдать предпочтение. Оба они были для моей души, готовой раскрыться навстречу огромному миру, ветром хамал. Они помогли набухшим почкам лопнуть, и сердце мое открылось для принятия всего прекрасного и хорошего.

ЭХО ВОЙНЫ

За нашим огородом протекал неглубокий, но довольно быстрый сай, он рассекал надвое кишлак, пробегал возле школы. Берега поросли кустарником и камышом. Узкая

тропинка пробивалась сквозь сплетение растений — это был кратчайший путь к школе, и мы с Турдыбаем охотно им пользовались.

Но вскоре нам пришлось изменить своей привычке. Верзила Пердаш, старший сын в огромной семье Юлдаша-ака, повадился подкарауливать нас и отбирать те жалкие лепешки, что выдавали нам дома для завтрака в школе. И раз, и другой, и третий остались мы без хлеба и решили больше не рисковать. Мы сменили путь, стали ходить большой многолюдной дорогой.

Здесь тоже было полно впечатлений. Особенно интересным местом был мост. У моста рос тутовник, и под ним, прямо на траве, часто сидели в тени приуставшие сельчане.

Особенно любили здесь задерживаться женщины. Они громко и бурно обсуждали самые разные события — семейные, кишлачные, колхозные.

Мы с Турдыбаем полюбили недолгие остановки у моста, когда возвращались из школы. Нам нравилось прислушиваться к разговорам, наблюдать за мимикой, за реакцией слушателей.

А однажды, вот так же из любопытства остановившись недалеко от тутовника, мы стали свидетелями материнского горя.

Три женщины сидели на траве в тени тутовника. Но наше внимание сразу же привлекла та, что раскачивалась, точно огромный, грузный маятник, из стороны в сторону. Волосы ее были абсолютно белыми, а глаза слезились и, казалось, ничего вокруг не видели. Она тяжело дышала и то и дело прижимала руки к груди, голос ее осел — видно, от постоянных причитаний.

— Тетушка Хамби, перестаньте так убиваться, — пыталась остановить это отчаянное раскачивание женщины товарищеская ее в бархатной безрукавке. — Видно, судьба такая... Ну, а бог даст, кто-нибудь из них вернется!

Лицо старухи искажилось, судя по всему, слова эти еще более усилили ее страданье. Она в который уже раз прижала руки к груди, ломая пальцы, и, глядя куда-то в пустоту, прохрипела:

— Если бы хоть один из сыночков был жив, разве бы уже не пришел?! Разве бы заставил так страдать свою мать?! — Она вдруг сделала такое движение, словно хотела вскочить и броситься на недруга. — А все он, этот сын

ослицы, проклятый Сали! Если глаза его не вытекут, не умру спокойно.

— Да сгорит его дом! — охотно поддержала ее та, что была в темном. — Бог все-таки наказал негодяя, ребенок его родился горбатым!

— Арофат, не говорите так, дети не виноваты и не должны отвечать за грехи отцов, — не согласилась с ней женщина в бархатной безрукавке. — А Сали действительно подлец, слава аллаху, что выгнали его из раисов! Многие семьи из-за него разрушились. Мужа в армию определит, а сам к его жене похаживать начинает.

— Нет, если аллах его не накажет, не смогу умереть спокойно, — вновь выкрикнула тетушка Хамби. — Из-за него, шайтана, лишилась я и младшенького, ведь ему и семнадцати не было! Лишилась троих своих джигитов! Все внутри горит у меня, сжигает грудь.

— Успокойтесь, тетушка Хамби, — вновь стала утешать ее женщина в безрукавке, она повернулась к той, что была в темном, и тихо сказала: — Бедная, видно, потеряла рас-судок от горя.

— Ох, сыночки мои, ох, джигиты, — причитала тетушка Хамби. — Абдукадыр так и стоит перед глазами. Помощник, опора наша с отцом. Любил меня, жалел. Когда однажды простыла, ноги отнялись, ночь целую напролет не отходил от меня, растирал, косточки мял. Бедный мальчик, так и не увидел счастья своих детей. Невестка моя Карасач до сих пор убивается, да и как не убиваться — не найти ей лучше Абдукадыра. Двадцать пять годочков ему было, когда похоронка пришла.

Седая женщина замолчала, продолжая раскачиваться. Но, видно, и вправду у нее внутри все горело огнем, горело, и жар этот рвался наружу.

— А средненький мой был каким! Тихий, и воробышка не обидит. Проклятый Сали, вскоре за старшим определил ему идти. Я ругаю раиса, проклиная его, а сынок успокаивает меня: «Мамочка, да разве в Сали дело?! Фашисты напали на страну, защищать родину иду. Чтобы ты, невеста моя никогда не знали рабства». Святой он у меня был, Абдулхаким мой! Не узнала с ним счастья Хадича, не вернулся жених ее с войны. Выдали родители Хадичу за нелюбимого. Так как же мне не плакать?! Все прахом пошло, одна я на свете осталась! И даже Хадича не ходит ко мне, забыла! Да и кто я ей?! Мать погибшего жениха!

Обе женщины, что были с ней рядом, плакали, вытирая широким рукавом глаза. Видно, нечем было им утешить безмерное горе матери, молча слушали они, надеясь на то, что воспоминания о сыновьях облегчат душу пострадавшей Хамби-холы.

— Абдурасул мой был совсем мальчонкой. Способный был, поехал в город на тракториста учиться, стал специалистом. Говорю я раису: «Эй, Сали, оставь Абдурасула в колхозе». Так нет, и этого послал на фронт. Потом уже узнала, что сам напросился Абдурасул, ходил к раису, сказал, что хочет уйти добровольно. А этот проклятый Сали и рад, последнего сына отобрал.

— Тетушка Хамби! Не убивайтесь! Судьба ваша такая. На все божья воля. Бог дал, бог взял.

Тетушка Хамби непроизвольно дернулась, руки ее с заломленными пальцами вновь метнулись к груди.

— Бог, говоришь? — закричала она громче прежнего. — Где он, ваш бог? Как допустил он, чтобы погибли три таких джигита?! Пусть посмотрит ваш бог на мои глаза — я их выплакала по сыночкам!

Тетушка Хамби вдруг вся затряслась, забилась, женщины еле удерживали ее. На губах ее выступила пена. Та, что в темном, пыталась приподнять Хамби-холу, но это оказалось нелегким делом.

Вдруг женщины увидели нас и замахали руками, подзывая к себе.

— Сыночки, помогите отвести Хамби-холу, приступ у нее начался.

Мы не шелохнулись. Зрелище было, видно, не для наших детских душ. Но зов повторился, человеку было плохо, нас просили помочь, и мы, преодолевая страх, приблизились к женщинам и принялись помогать им.

С трудом довели Хамби-холу до дома, оставили на попечение женщин и вышедшей невестки и бросились бежать.

Бежали так, словно за нами гнались, словно нас настигала война со всеми ее несчастьями и бедами.

— Мама! — закричал я, влетая во двор. — Мама!

Она, перепуганная, слетела навстречу мне с айвана.

— Что случилось, сынок, что с тобой?

Я обвил руками ее ноги, прижался к ней всем телом и прошептал:

— Как хорошо, что я не пойду на войну!

ЛИСТОПАД

Как бы я ни любил весну, но и осень не доставляла мне огорчений. Весна у нас на юге стремительная и, как правило, краткая.

Осень же начинается незаметно. Постепенно, неспешно спадает жара, солнце умеряет свой пыл, и в природе как бы начинается период умиротворения. Уже сентябрь, а вокруг все еще зелено, все так же благоухают цветы, оглушительно пахнет райхон.

В садах на деревьях гнутся ветки от обилия плодов. Тепло, а по северным меркам — так прямо жарко. Вокруг разлит запах спелых яблок, арбузов, дынь.

Но вдруг однажды происходит невероятное — дневная жара сменяется вечерней свежестью, ночью неожиданно задувает ветер, и пачинается первый осенний ливень. Сразу холодает. Дня два люди с тоской смотрят на хмурое небо, не хотят надевать теплой одежды, все не верят, что солнце скрылось всерьез.

И правда, на третий день небо проясняется, вновь наступает теплая пора и уже надолго, до середины ноября. Вот тут-то и начинается настоящая осень. В одну ночь листья сменяют свою окраску, и кажется, весь мир становится золотым.

Весну я люблю за уверенность в своих силах, за способность заставить все вокруг дышать, цвести. А еще за ласточек, нежных и стремительных птиц. Осень же мне нравится за ее смирение, за ее печальную покорность судьбе. И еще за неповторимый запах сухих трав.

Два раза в году над нашим кишлаком пролетают журавли. В ту осень мне впервые страстно захотелось вслед за ними полететь в дальние страны. «Что там, вдали? — думал я. — Какие кишлаки, какие люди? Во что играют там дети?!»

И мне стало обидно при мысли, что я не умею летать. Вот бы иметь такие же крылья, как у орла, и парить высоко, и лететь куда вздумается.

Однажды, когда я старательно подметал двор, сметая в кучу нападавшую листву, я услышал знакомый нежный переклик. Поднял голову и увидел совсем низко летящий живой трепетный треугольник.

— Журавли, журавли! — завопил я что есть силы.

Из дома выскочила Рихси,

— Эй, сладкий мой, чего кричишь? Что случилось? — спросила она испуганно.

— Сестра, смотрите, журавли летят на юг! Как это здорово!

Рихси подняла голову к небу, и вдруг глаза ее наполнились слезами.

— Эй, журавли! — закричала теперь она сквозь всхлипы. — Передайте привет моей маме, братьям, если встретите их!

Мы прислушались к высокому небу и ясно различили сыплющиеся сверху голоса птиц. Что они ответили Рихси — не знаю, только сестра уже не крикнула, а в этот раз прошептала:

— Скажите им, что Санию не убила война, что она жива и не умрет, пока не увидит вас.

Рихси-апа опустила голову и закрыла лицо руками.

— Рихси, — тронул я за плечо сестру. — Не плачьте, журавли передадут ваш привет. Слышите?!

Мы вновь затихли, и над нашей крышей, над кишлаком, над всем желтым миром разнесся тревожный и прекрасный крик — птицы обещали выполнить все наши наказы.

Четкий треугольник уменьшался, таял вдали, а мы, взявшись за руки, стояли с Рихси посреди нашего маленького двора и думали о том огромном мире, который лежит где-то там, за нашим кишлаком, и куда открыты пути только ветру да птицам.

И тогда мне подумалось: «Если так прекрасен наш кишлак, с его садами и желтыми полями, то каким же должен быть весь мир, о котором нам столько рассказывал папа!» И эта непознанная, неоткрытая красота волновала мое сердце, манила в неизвестные края, и, глядя вслед птицам, я твердо решил стать путешественником.

Возле летней кухни у нас рос тутовник, в одно прекрасное утро я не обнаружил на его верхушке золотой листвы. Я удивился: почему только верхняя часть кроны сбросила листья? И тогда мама объяснила мне, что зимы бывают разные — теплые и холодные. Деревья же подсказывают дехканам, какая именно придет в этом году зима. Если листва опала только с верхних веток, значит, быть теплой и снежной зиме.

Тутовник, оголившийся сверху, представлял теперь любопытное зрелище — половина его была все еще пышной, багряной, а половина — черной и... кричащей. Орали

и прыгали с одной голой ветки на другую три-четыре вороны.

Как только оголились в кишлаке деревья, люди стали перебираться со дворов, где они день-деньской проводили в беседках, на айван, а с айванов холод отправлял их в комнаты.

Пришла пора осенних игр. Мы снова вспомнили про лянгу, про змеев — ведь теперь ветер был таким, что мог и нас унести вместе с нашим бумажным летуном.

Как-то после школы мы с Турдыбаем отправились к реке — мы знали, что там всегда полно ребятишек. Одни смотрели за козами или телятами, другие прибежали на берег реки просто поиграть, потому что это было самое красивое место во всем кишлаке.

Вода в сае текла степенно, как-то даже слишком смиренно, не то что по весне, когда горный паводок заставляет ее нестись точно безумную. На водной глади плыли желтые ладьи-листья, зеленая вода отражала рыжее солнце. Желтый шуршащий ковер под ногами.

Не сговариваясь, мы с Турдыбаем стали хватать охапками листья и осыпать ими друг друга. При этом так хохотали, словно кто-то щекотал нам пятки. Вскоре мальчишки, сидевшие на теплых камнях, повскакали и присоединились к нам, и все вместе мы устроили такой «листопад», который не под силу было устроить ни одному ветру.

Сейчас, когда я, солидный и благоразумный, чинно иду по осенним улицам, усыпанным листвой, я вспоминаю ту нашу игру в «листопад» и наш радостный смех. Тогда мы знали, что все в природе старится и увядает, но и помыслить не могли, что когда-нибудь придет срок увядания и в нашу жизнь.

До сих пор в моих ушах стоит этот звонкий детский смех посреди притихшего, печального желтого мира.

СВАТЫ

В тот день после уроков я задержался с мальчишками на окраине кишлака. Домой прибежал голодный. В калитке меня встретил Камал.

— На, держи! — сказал я, пытаюсь всучить ему сумку с книжками, чтобы сразу помчаться на летнюю кухню.

— Сам держи, — отрезал Камал и спрятал руки за спину.

— Ах ты вредина, — прошипел я и отпустил ему по носу чувствительный щелчок.

Камал заревел и вцепился мне в штанину.

Не знаю, во что бы вылилась наша стычка, но тут калитка, скрипнув, приоткрылась, в щель просунулась старушечья голова. Глаза зорко осмотрели двор, видимо, нашли то, что им нужно, и тогда калитка наконец распахнулась, и во двор вступила сама старуха.

— Сестра, заходите! — пригласила она, обернувшись, свою такую же старую спутницу с улицы, а затем обратилась ко мне: — Эй, мальчик, мать твоя дома?

— На кухне, — сказал я, удивляясь не столько ее скрипучему голосу, сколько весьма решительному тону. Была она высокая и тощая, словно оглобля, спутница же ее оказалась полной противоположностью — маленькая, круглая и, по всему виду, довольно робкая. А вот лица у них были похожи, напоминали печеные яблоки. Круглая старушка держала в руках белый узелок.

Пока я рассматривал неожиданных гостей, мама сама появилась из кухни. Увидев, что я не спешу оказать знаки уважения — приветствовать, провести их в мехманхану, она ласково проговорила:

— Проходите же, проходите в дом, тетушка Хасият. Как поживаете, как ваше здоровье?

Высокая старуха приобняла маму и похлопала ее по спине.

— Скажите лучше, Арифа-апа, как здоровье ваших детей, ваше и уважаемого Усмана-домлы?! — проскрипела она.

Я стоял и все ждал, когда же кончится этот поток приветствий. Но оказалось, что на очереди еще круглая старушка — и ее надо было расспросить, и ее обнять и похлопать, приветствуя, по спине. Наконец мама подхватила старух под руки и повела их в дом. Старухам трудно было взбираться по ступенькам на айван, они охали, то и дело прикладывали руки то к бедрам, то к коленям, но вот наконец с помощью мамы поднялись.

Мама усадила гостей на курпачу и хотела было отправиться на кухню, но высокая решительно сказала:

— Садитесь, Арифа-хон, садитесь, милая, чай мы только что пили.

Тон у старухи был таким повелительным, что мама, забыв про обычаи гостеприимства, опустила рядом.

Некоторое время в комнате стояла тишина, и мы с

Камалом, забившиеся в угол, потеряли было надежду узнать, зачем же явились эти старые женщины.

Маме, видно, тоже было любопытно. Дело в том, что, когда отец вернулся и жить нам стало немного легче, мама купила швейную машинку и с некоторых пор обшивала нашу махаллю. Может быть, старушки принесли материю на платье? Но расспрашивать гостей о причине визита не положено. И мама лишь молча поглядывала на их белый узелок.

— Не беспокойтесь, не хлопочите о чае, — мягко произнесла круглая и вдруг неожиданно добавила: — Царство ему небесное.

Мама вздрогнула, а мы с Камалом высунулись из своего угла. Круглая продолжала:

— Зять ваш, Зиятбай, хороший был человек. — Она бросила взгляд в сторону Камала, и тот заполз обратно в угол. — Вон и сыночек его славный какой...

Старушка приложила пухлую руку к глазам. И у мамы по лицу потекли слезы.

— Арифа-апа, — наконец перешла к главному круглая, — у сестры Хасият сын вдовцом остался, если будет угодно небу, может, соединим его судьбу с судьбой вашей дочки Марифы?

Мама, судя по всему, растерялась и долго не могла сообразить, что ответить. А когда заговорила, голос ее дрожал:

— Уважаемые, хоть и не родной, а отец есть у Марифы, с ним посоветоваться надо, да и дочку, главное, спросить следует.

— Надирхон неплохой парень, — в разговор вступила высокая. — С войны, слава богу, вернулся. И тут такое горе. Хочется, чтобы он увидел хоть немного радости. Трех детей его к себе заберу.

— Тетушка Хасият, — уже более спокойно проговорила мама. — Надирхон хороший йичит. Неважно, что есть дети. Есть ведь такие семьи, где ждут не дождутся ребенка, а бог не дает. Своего внука я бы тоже оставила при себе.

— Тогда благословим их, — обрадовалась круглая и протянула свой узелок маме. — Вы, я вижу, добрая мать.

«Как же так, как это «благословим»? — хотелось мне крикнуть из своего угла. — Кто может заменить нам нашего Зиятбая-ака?!»

Но мама вышла на айван и принесла несколько лепешек, увязала их в белый узелок и протянула круглой.

Я возмущился — я-то в отличие от Камала уже знал, что значит обменяться хлебом. Это почти породниться.

Старухи поднялись и засобирались уходить.

— Подождите, уважаемые, сейчас подоспеет ужин, — стала их уговаривать мама.

Высокая решительно направилась к выходу, у дверей задержалась и успокоила маму:

— Не хлопочите! Вот если судьбе угодно, породнимся, тогда не раз за ужином посидим.

Я толкнул Камала в бок: дескать, слышишь? Но Камал ничего не понял.

Нет, не может быть, чтобы место Зиятбая-ака занял кто-то другой, думал я. Папа никогда не согласится на это. И стал ждать прихода отца, совершенно забыв о сестре Марифе-апа.

Когда отец вернулся, мама, даже не дав ему переодеться и поговорить с нами, провела в спальню. Но, видимо, реакция отца была не такой, как она ждала, он после разговора выглядел очень недовольным. Еще бы — ведь мама уже обменялась со сватьями хлебом!

Мама нервно расхаживала по нашему дворику, как бы ища себе дело и не находя его. Когда хлопнула калитка и появились вернувшиеся с поля Марифа и Саифа, мама обняла за плечи старшую сестру и опять, теперь уже с ней, удалилась в маленькую комнату.

Долго, очень долго длилась их беседа. Саифа уже поставила касы с шурпой на дастархане, а они все не появлялись. Наконец вышла мама, торопливо села за дастархан, подала знак, чтобы мы ели.

— А как же Марифа-апа? — спросила Мазифа. Она вскочила из-за дастархана и побежала в маленькую комнату.

Мы с Камалом тут же ринулись следом.

Марифа-апа сидела на курпаче, обняв колени и устремив невидящий взор на пламя керосиновой лампы. На наш приход она не обратила никакого внимания. Даже Камал не привлек ее взгляда. Мне стало жаль своего брата; я забыл о недавней стычке с ним и боялся только одного — что Камала уведут из нашего дома. Мне тут же захотелось поделиться с ним своим богатством — отдать ему перочинный ножик, пароход, вырезанный из щепки. Но реализовать свои благие намерения я не успел.

Вдруг дверь в маленькую комнату распахнулась, и на пороге появилась Саифа-апа. Лицо было бледным, глаза сверкали. Видно, она только что узнала от мамы о приходе сватов. Но они приходили сватать не ее, не хромую Саифу.

— Ах, ты, кажется, еще и не рада?! — сказала она со злыми слезами в голосе. — Тебя, взрослую женщину, сватают, несмотря на то что и ребенок есть, а ты...

Она словно захлебнулась словами и замолчала. Молчала и Марифа-апа, она даже не отвела взгляда от лампы. Это, видно, еще больше подхлестнуло Саифу-апа, ее раненное обидой самолюбие, слова ее стали еще злее.

— Как бы прекрасно ни пел соловей, ему никогда не обрести крылья орла. Мне не стоит и мечтать об орлиных крыльях. Тебе же судьба посылает второй раз удачу, а ты еще делаешь вид, что не нуждаешься в ней!

Я видел, что Саифа-апа готова была разрыдаться, и вспомнил, как однажды мама говорила отцу: «Бедняжка наша Саифа — кто хромую девушку возьмет замуж?..»

Марифа-апа сердито посмотрела на Саифу и сказала:

— Иди займись своими делами. Вижу, ничего-то ты не понимаешь.

— А что тут понимать? — не унималась Саифа. — Или соглашайся, или откажись, а не гляди так, словно тебя на преступление толкают.

И вдруг сидевшая недвижно Марифа-апа стремительно вскочила и закричала:

— Да, да, на преступление! Забыть Зиятбая — это преступление. Я не предаю память его отца, — она подхватила Камала на руки и стала осыпать лицо его поцелуями.

Камал с перепугу заревел и цепко обнял мать за шею.

— Дитя, дитя мое! — выкрикивала Марифа-апа. — Нет совести у людей. Даже у матери. Замуж меня хочет отдать. Как же я могу? Ведь Зиятбай-ака вот где у меня, — и она стукнула кулаком себя в грудь.

На крики прибежали мама с отцом, они стали успокаивать старшую сестру, но это не так-то легко оказалось сделать.

— Если я здесь лишняя, то уйду, — рыдая выкрикивала Марифа-апа. — И крошку этого несмышленного с собой заберу.

Мама испугалась не на шутку и, видно, уже пожалела о том, что так неосмотрительно дала согласие на брак. Она-то лучше, чем кто-либо другой, знала, как любила

Марифа своего мужа и как тяжело переживала его утрату.

В доме разразился скандал, все кричали, мама и сестры плакали, а я был доволен. Радовался, что сестра не опозорила светлой памяти Зиятбая-ака. Что ее любовь была настоящей.

Вскоре в нашем маленьком дворике все стихло. Несмотря на поздний час, мама, прихватив Саифу-апа, отправилась к сватам, чтобы принести им свои извинения.

ОХОТА

Как-то отец отправился в районный центр — его вызвали в отдел народного образования. Вернулся он, неся в чехле ружье. Я завопил от радости, огласив наш маленький двор криками «ура». Когда отец был на войне, я мечтал, что, вернувшись, он обязательно подарит мне ружье, из которого убивал фашистов. Каково же было мое разочарование, когда мечты мои не сбылись. Зато теперь-то уж я был самым счастливым мальчишкой на свете.

Однако играть с ружьем мне не разрешили. Отец повесил его на стену и только изредка снимал, чтобы почистить и смазать. Когда же я просил дать мне его хотя бы подержать, он говорил:

— Ничего, сынок, скоро пойду на охоту, возьму тебя с собой.

И вот этот долгожданный день настал. В один из выходных дней отец разбудил меня пораньше и объявил:

— Собирайся, идем опробовать ружье!

Меня из постели точно катапультировало. Я быстро собрался и тут вспомнил, как умолял меня, слушая мое хвастовство, друг Турды взять и его на охоту. «Скажи своему отцу, пусть возьмет», — канючил он и подобострастно заглядывал мне в глаза. Сейчас, в приливе великодушия, я решил передать его просьбу отцу. К моему удивлению, отец легко согласился.

Я побежал к другу с радостной вестью, а когда мы вместе вернулись, отец стоял у калитки, а мама, как всегда, давала ему советы.

— Будьте осторожны, — это она говорила уже нам вслед, — говорят, пули возвращаются!

Папа рассмеялся и переспросил:

— Что они делают? Возвращаются?.. — И покачал головой, видимо удивленный маминым невежеством.

Путь наш лежал к Кизилсаю. Папа шел легко, размашисто, по-военному, а мы, чтобы не отстать, трусили рысдой. В этот ранний час народу на улицах кишлака было еще мало, и я ужасно жалел, что нас никто не видит. Когда в средней махалле нам встретился незнакомый человек, я, не дожидаясь, когда он догадается задать свой вопрос, похвастался ему, что мы идем с отцом на самую настоящую охоту.

Утро было серое, какое-то сырое — то ли дождь собирался, то ли снег. Мы дошли до Кизилсея и стали подниматься вверх по течению, к холмам, которые переходили в горную грядку.

Дорога становилась все круче, вот и холмы, давно потерявшие свой травяной покров и превратившиеся в какие-то мрачные бурые бугры. На ходу папа рассказывал нам о различных зверях, что водятся у нас и не водятся, но шага не сбавлял, а мы не решались признаться ему, что давно взмокли и уже устали. Тот восторг, который мы испытывали с Турдыбаем, покидая двор, несколько потух. Оказывается, ходить на охоту не так-то просто. Мы даже устали слушать о повадках зверей, об их следах и уловках.

— А вот и гряда Окота начинается, — объявил отец.

Мы с другом радостно озирались, нам думалось, что сейчас мимо начнет пробегать множество зверей — пышнохвостые роскошные лисицы, рыскающие в поисках жертвы огромные серые волки, а может быть, появится и сам царь зверей — тигр! Папа наконец умерил шаг, теперь он внимательно осматривал окрестности, мы во всем подражали ему. Но вокруг все пока что было пусто и безмолвно, и я постепенно стал нервничать. Мало того, думал я, что он не дает мне подержать ружье, нам еще и с охотой не везет, о которой я так красочно живописал Турдыбаю.

Все мои мечты о великолепной охоте рассыпались в пух и прах. А разочарованный Турдыбай поглядывал то на меня, то на отца, как мне казалось, с сожалением и словно бы вопрошая: «Ну, где же ваша добыча?»

И я решил разрядить тягостную атмосферу ожидания и объяснил другу, что мы должны преодолеть перевал, и вот тогда-то и начнется настоящая охота, мы увидим, как папа будет заряжать ружье, целиться, а потом... Тут Турдыбай нетерпеливо перебил меня и заявил, что первым принесет подбитую дичь он. Я возразил, что у меня точно

такие же права и даже немного больше — ведь это все-таки мой отец.

Мы так раскричались, что отец остановился и приложил палец к губам — тише. Мы приумолкли и снова терпеливо принялись ждать, когда же прозвучит выстрел.

Так, в ожидании, мы достигли перевала. Остановились, чтобы передохнуть. Сели на камни. Я посмотрел вниз — величественный пейзаж открылся перед нами, от красоты которого захватывало дух. Мы с Турдыбаем чуть не завопили от восторга, но отец вновь приложил палец к губам.

— В горах не кричат, — сказал он тихо. — В горах надо уважать тишину.

Налюбовавшись окружающим миром, мы с Турдыбаем вновь вспомнили, зачем пришли сюда, в горы.

— Папа, — решил я наконец высказать свои сомнения. — А где же все звери?! Когда же мы услышим выстрел?

Отец смущенно молчал. Чувствовалось, что он и сам немного расстроен. Как же, обещал сыну зрелище — а вот, ничего.

Мне стало жаль отца. Ну правда, не виноват же он в том, что звери обходят почему-то нас стороной.

— Папа, ты не волнуйся, — подбодрил я его. — Звери обязательно появятся. Побродим еще.

Отец улыбнулся, похлопал меня по плечу и поднялся. Мы продолжали путь и вскоре достигли пещеры. У входа в нее увидели маленький родничок. Вокруг на камнях белел птичий помет — наверное, это и был «Птичий источник». Несмотря на холодную погоду, мы напились прозрачной влаги, от которой ломило зубы.

Турдыбай загрустил, кажется, он так устал, что с радостью бы вернулся в кишлак. Только гордость не позволяла ему признаться в этом.

Вдруг с соседней скалы скатился камень, за ним второй... Отец замер, весь напрягся, глядя в ту сторону.

— Вы подождите здесь, — сказал он и, схватив ружье, стал стремительно взбираться по горной тропе. Вскоре он исчез из вида, и мы не сомневались, что он сейчас настигнет зверя. Вот-вот прозвучит долгожданный выстрел, и мы наконец сможем закричать «ура» и броситься за добычей. Но было тихо. И тогда мы не сговариваясь кинулись в ту сторону, куда ушел отец. Карабкались, цепляясь за кустарник, царапая руки. Вдруг Турдыбай закричал:

— Вон, вон! Смотри!

Я осмотрелся, но ничего не увидел. Турдыбай и сам теперь растерянно озирался.

И тут... Совсем недалеко от нас, смешно перебирая ножками, выбежал маленький белый козленок. На секунду он замер, увидев нас, и, точно солнечный луч, мелькнул над тропой, скрылся в кустарнике.

— Какой хорошенький, — прошептал я, чуть не задохнувшись от восторга.

Те козлята, что рождались у нашей погибшей козы, тоже были славными, но они были черные. А этот — белый. И такой юркий, что мы его и разглядеть-то толком не успели. Но почему же козленок один, а где его мать?

— Турдыбай, где же коза? — спросил я друга, обернувшись к нему, и увидел незнакомого человека. Тяжело дыша, он приближался к нам, держа наготове ружье и вглядываясь в заросли.

— Вон он, вон! — снова закричал Турдыбай, показывая куда-то рукой, и я, не успев еще ничего сообразить, услышал выстрел. Он мне показался оглушительным. Белый козленок, вновь появившийся на тропе, вдруг резко подскочил, точно его подбросило, и рухнул наземь.

Незнакомый мужчина удовлетворенно крикнул и опустил ружье.

— Ну, джигиты, — окликнул он нас. — Пошли смотреть добычу.

Мы с другом побрели следом за охотником.

Белый козленок бился на земле. Из глаз козленка текли слезы.

Только что этот белый комочек резво бежал по горам, может быть, в поисках своей матери. За что же убил его охотник? «Отец, где же отец?!»

Я стал озираться по сторонам.

Отец спускался сверху, приветственно махая рукой огромному, точно глыба, человеку, убившему маленького козленка.

— Поздравляю, — сказал он, подходя. — Вы, Махкам-ака, превосходный стрелок. А вот нам сегодня не повезло!

Я с удивлением глянул на отца.

И вдруг меня стало рвать. Отец бросился мне на помощь, но что он мог сделать — внутренности мои точно выворачивало наизнанку. Турдыбай с перепугу ревел и цеплялся за рукав отца.

— Уйдем, уйдем отсюда! — истерично кричал мой друг.

Кое-как довел нас отец до родничка, умыл нам лица,

дал попить ледяной воды. Но успокоить так и не смог, нас обоих била дрожь, и мы оба не могли произнести ни слова.

В эту ночь меня мучили кошмары, снилось, будто белый козленок — это я. За мной идет по пятам огромный охотник. Пуля разрывает мне бок, от страшной боли я кричу и зову на помощь отца...

МЕСТЬ САИФЫ

С тех пор как с Саифой случилось несчастье, с тех пор как она поняла, что уже никогда не избавится от хромоты, характер ее резко изменился. Веселая выдумщица, озорница, она стала раздражительной, обидчивой, злой.

Она все так же была неистощима на выдумки, только теперь они носили какой-то мстительный оттенок, словно Саифа решила за свою беду расправиться со всем белым светом.

На поле сестра по-прежнему удивляла даже мужчин своей смекалкой, неутомимостью, азартом. А вот придя домой — расслаблялась, ничего не хотела делать. Если же мама просила ее о чем-нибудь, с досадой отмахивалась — дескать, оставьте меня в покое. Без дела слонялась она по двору и не приведи кому-нибудь из младших попасться ей под руку — тут уж жди «воспитания». А оно выражалось у нее по-разному — то ограничится просто подзатыльником, а то и найдет за тобой провинность, за которую можно и плеткой отстегать.

Мы с Мазифой, да и Рихси с Камалом, боялись ее и старались обходить стороной.

В последнее время Саифа сдружилась с дочкой Буви-хон — Шарофат. Шарофат была бойкой и дерзкой девушкой, может, потому с ней особенно-то никто в кишлаке и не дружил. С Саифой же они нашли общий язык.

Шарофат частенько оставалась у нас ночевать, они за-суживались далеко за полночь, болтали, пересмеивались, придумывали всякие каверзы.

И вот они наделали в кишлаке настоящий переполох. Саифа с Шарофат стали писать письма своим бывшим одноклассникам — девушкам и парням. Они хорошо знали характер каждого, все слабости и недостатки и в письмах обыгрывали и высмеивали их. Письма были остроумные и злые, Саифа заставляла нас громко читать их, хохотала до упаду, а затем заставляла разносить по дворам.

Мазифа, Рихси и я отказывались это делать, удирали на улицу, но после изрядной порции «воспитания» вынуждены были подбрасывать письма в заранее намеченный Саифой двор. Делать это надо было с предосторожностью, а иначе, мы знали, хозяева отдубасят нас так, что плетка Саифы покажется ласковой трепкой.

Парни и девушки, получившие анонимки, злились, искали их авторов, грозили оборвать уши, переломать ноги, но выяснить, кто это делает, так и не могли.

Наконец Саифе и Шарофат наскучило издеваться над своими сверстниками, и сестре пришла в голову новая идея.

Как-то она собрала нас, малышей, в тесный кружок, пообещав сообщить нечто важное. Мы с любопытством уставились на сестру, даже рты пораскрывали. А сестра не спешила, она с заговорщическим видом смотрела то на одного, то на другого, нагнетая таинственность.

Наконец я не выдержал и сказал:

— Саифа-апа, ну говорите скорее... — и придвинулся к ней поближе.

Саифа была довольна.

— Вот что, — объявила она тоном, не терпящим возражений, — сегодня идем к Артыку-вору. У него на сеновале хранятся дыни, лучшие в кишлаке. Если немного возьмем, он не обеднеет.

Мы онемели. Взять без разрешения — значит украсть, а воровство у нас в кишлаке считалось самым страшным пороком. Нет, это невозможно.

— Ну, что молчите? — прикрикнула на нас Саифа, сощурив глаза. — Или уже забыли, что Артыкбай-вор украл у нас посылку? Мы должны отомстить, а месть — это благородное дело.

Мы молчали. И тогда голос Саифы зазвучал еще более резко.

— Вот что! Без лишних разговоров пойдете со мной. А тот, кто откажется или, упаси аллах, проболтается маме, получит по заслугам.

Рихси посмотрела на нас, ища поддержки, но мы опустили глаза. И тогда она решилась:

— Я не пойду, Саифа-апа! Не сердитесь!

Саифа не то что рассердилась, а просто рассвирепела. Она никогда не била Рихси, но тут мы поняли, что нашей приемной сестре не миновать трепки. Саифа приняла такую угрожающую позу и так сверлила нас глазами, пере-

водя взгляд то на одного, то на другого, что мы готовы были на что угодно, только бы избежать ее гнева. Рихси притихла: поняла, что и ей не миновать нашей участи.

Вечером, после ужина, дождавшись, когда отец с матерью уйдут к себе в комнату, Саифа подала нам знак — пора.

Мы вышли на улицу и стали обсуждать вопрос: с чьего двора удобнее подобраться к сеновалу Артыка-вора — с нашего или с его. Решили, что лучше всего Саифе пробраться к нему во двор. Она взберется по лестнице на сеновал, затем поднимет лестницу и опустит ее со стороны улицы, где будем «дежурить» мы. Она скатит дыни со стога, подаст мне, стоящему на лестнице, сколько сможет; затем мы перебросим лестницу снова во двор.

Раз уж мы согласились участвовать в этом деле, ничего не оставалось, как одобрить разработанный ею план.

Саифа вывела нас на улицу и определила каждому место у задней стены сеновала Артыкбая-вора.

— Ты, Мазифа, — давала она последние наставления, — переберешься по лестнице ко мне. Рихси — сонная муха, посторожит внизу, а этот — деревянная голова (речь шла обо мне) — будет принимать дыни и осторожно складывать, чтобы не побились. Все поняли?

Мы дружно закивали.

— И главное — не шуметь. Воры работают молча. Следите за мной — буду подавать вам знаки.

Мы заняли каждый свое место, а Саифа, точно тень, проскользнула во двор Артыка-вора. Действовала она смело, так как еще с утра прознала, что соседи вечером приглашены на плов в верхнюю махаллю.

Долго, невероятно долго не было слышно со двора ни звука. Мы вздрагивали при каждом шорохе, готовые тотчас дать стрекача и не смея сдвинуться с места.

Но вот на крыше сеновала показался темный силуэт. Мы обрадовались и облегченно вздохнули: наша предводительница достигла цели. Но Саифа не была бы Саифой, если бы и здесь не проявила своего характера — несколько раз она, посмеиваясь, прошлась по крыше, легко прищипывая и прищелкивая пальцами.

У нас зуб на зуб не попадал от страха — а ну, как увидит кто-нибудь! Мне хотелось крикнуть сестре: «Да заканчивай ты поскорее свое дело!» — но кричать было нельзя. Оставалось ждать. А Саифа, решив, что достаточно пощекотала нам нервы, наконец-то принялась осторож-

но спускать довольно громоздкую лестницу к нам на улицу.

Когда лестница со стуком коснулась земли, Саифа шепотом приказала:

— Рихси, поднимайся!

Бедная Рихси, едва сдерживая слезы, стала подниматься по лестнице. И тут мы снова услышали шепот Саифы, на этот раз он показался мне зловещим:

— Быстрее, растяпа, слышишь, кто-то идет.

Голоса приближались. Мы узнали Артыкбая-вора — его хриплый, лающий говор ни с каким другим не спутаешь. Хозяева возвращались домой.

— Сюда, все сюда, — шипела на нас Саифа. — Да поднимайтесь же быстрее!

«Как же так, по плану ведь было не так!» — мелькнула у меня мысль. Но мы с Мазифой уже, отталкивая друг друга, кинулись к лестнице, кое-как взобрались на сеновал, где Саифа подхватывала нас и буквально швыряла на солому. Мы падали и тыкались носом прямо в дыни, их пьянящий аромат дразнил воображение.

Хозяева между тем были уже во дворе. Артыкбай-вор, услышав шорох на сеновале, насторожился и сказал:

— Надо бы проверить, что там такое! Ушли и даже калитки не заперли.

Кажется, хозяин собрался подняться на сеновал.

— Да будет вам, — урезонила его тетушка Ибо. — Дождь моросит, солома и шуршит.

— Ну и дура ты, — прохрипел Артык-вор, — я что, дождя бы не почувствовал? На небо посмотри — звезды горят.

Тетушка Ибо вздохнула:

— Ну, значит, кошки лазают. Да что вы, Артык-ака, раскричались, Эргаш испугается, он ведь спит давно у меня на руках.

Хозяин вроде бы успокоился и, стуча сапогами, потопал в дом.

Во дворе вновь стало тихо, вскоре хозяева и лампу потушили — видно, улеглись спать.

Предводительница наша подождала еще какое-то время и распорядилась:

— По местам.

Мы с Мазифой скатились с лестницы, заняли свои «позиции», а Рихси стала принимать у Саифы дыни и пода-

вать мне, я брал из ее рук благоухающие шершавые кругляши и осторожно укладывал в сторонке.

Мне даже понравилось это занятие, и с каждой новой, будто спустившейся с небес дыней я все более воодушевлялся, мне уже не казалось, что заняты мы недобрым делом.

— Все! — услышали мы донесшийся сверху шепот.

Лестница стала медленно подниматься и исчезла за кромкой дувала. Несколько томительных минут ожидания — наконец калитка скрипнула, и показалась наша предводительница.

Она распределила, кому сколько нести, и мы с поклажей двинулись в сторону пустыря. Расселись там тесным кружком, Саифа достала из кармана безрукавки складной ножик, и пир начался.

Мазифа, Рихси и я забыли, что дыни украдены, а сами мы — воры, нас занимало одно — отведать скорее пахучей сладости. Мы не ждали, пока Саифа нарежет дыню кусками, хватали их и о коленку раскалывали, чуть не мурлыча от удовольствия, вгрызались в сочную мякоть.

К дому брели с трудом, едва, казалось, тащили отяжелевшие животы.

Когда легли спать, мне вдруг показалось, что скрипнула калитка. «Артык-вор идет! — пронеслось в голове. — Видно, все-таки узнал!..»

— Саифа-апа, — шепотом позвал я сестру. — Мне страшно, нас теперь будут, наверно, судить.

— Спи, дурачок, — сказала она. — Главное, не проболтайся!

Я ворочался с боку на бок, вздрагивал при малейшем шорохе, наконец провалился в какой-то тревожный зыбкий сон, а когда утром проснулся, первой мыслью было: «Не узнали ли о нашем воровстве?..»

Покой ко мне не вернулся и в школе. Я не понимал ничего из того, что объяснял учитель, мне все время казалось, что вот-вот дверь класса распахнется и появится Артык-вор. «А-а, вот где этот мальчишка, что украл мои дыни!» — завопит он. И все узнают, что я вор, позор навеки падет на мою голову. И у меня тоже будет кличка Анвар-вор, обо мне будут шептаться в кишлаке, от меня будут прятать в домах хорошие вещи, когда я приду в гости.

После школы я, нигде не задерживаясь, помчался напрямик домой с единственным желанием — рассказать все

маме. Но ее не оказалось дома. А когда она вернулась, пришла с работы и Саифа. Точно догадываясь о моих намерениях, она погрозила мне украдкой кулаком.

Несколько дней я жил в постоянном страхе.

«Ну и ну,— думал я.— Как это, оказывается, тяжело быть вором. Нет, нет, никогда и ни за что я не возьму теперь даже чужой иголки, даже крошки хлеба, пусть хоть мне придется умирать с голоду».

ПЕРВЫЕ ПОИСКИ ИСТИНЫ

Сначала я ничего не замечал: ну, возвращается отец поздно, ну, не обращает на нас внимания — так это все от усталости. Много работы, утомляется человек. Эту мысль в нас старательно поддерживала мама. Приходившего поздно отца она провожала сразу в маленькую комнату, приносила туда ему ужин. А утром мы просыпались, когда отца уже не было.

Но вот однажды вечером я кинулся навстречу отцу, обнял его — и в лицо мне ударил крепкий сивушный запах.

— Папа! — закричал я испуганно. — Ты опять пил водку?

В моей памяти еще была жива картина «обмывания» его директорской должности, и я не хотел, боялся опять увидеть его таким, как в тот раз. Отец приложил палец к губам — дескать, не поднимай шума. И, пошатываясь, прошел в маленькую комнату.

С тех пор я не ложился спать, пока не приходил отец. Несмотря на все запреты матери, я кидался к отцу и всякий раз от него несло той вонючей жидкостью.

Я был младшим в семье. Но не только я, никто из детей не имел права делать замечаний отцу, во мне все кричало, все протестовало. Но мама! Почему молчит мама? Не хочет, чтобы в доме были скандалы? Или боится, что мы, дети, перестанем уважать главу семьи, любить своего отца? А может, она корит его в наше отсутствие? Но почему тогда он ее не слушается?..

Правда, бывали такие дни, когда на отца словно находило просветление — тогда он не пил, домой возвращался засветло, приносил нам от Хашима-чайханщика белые лепешки и сахар, занимался с нами и с виноватым видом поглядывал на ставшую молчаливой маму. В доме сразу становилось как-то уютно, а на душе спокойно. И я ду-

мал: «Отец сильный человек, уж если немцев победил, то водку победит подавно».

Но проходило немного дней, и все начиналось сначала.

Начались холода, выпал первый снег. К полудню он таял, превращался в кашицу — улицы кишлака раскисли. Большинство жителей сидели теперь по домам, возле сандалов, и глядели с нетерпением в окна в ожидании теплых дней.

Мои старшие сестры ходили в амбар — на зимние работы, а я с младшими пропадал на улице. Домой мы возвращались мокрые, грязные, сбрасывали у порога обувь, одежду и спешили к сандалу погреться.

Однажды вечером, когда вся семья грелась вот так у сандала, распахнулась дверь и в комнату ввалился отец.

Вид его был ужасен. Наверное, он не раз падал, пока дошел, — на нем сухого места не было. Волосы слиплись, шапку, как видно, где-то обронил, в уголках рта пена.

— Боже мой, — прошептала мама, подходя к нему, чтобы помочь раздеться. — Как не стыдно появляться перед детьми в таком виде?

— Так, может, мне лучше вообще не приходиться? — невнятно прорычал отец и громко рыгнул.

— Да тише вы, тише, — уговаривала мама. — Пройдите тихонько к себе и ложитесь спать. Или лучше выпейте горячего крепкого чая...

— Не хочу нич-ч-чего, — мотая растрепанной головой, сказал отец и, грубо оттолкнув маму, тяжело опустился на табуретку.

Маме, видно, стало перед нами стыдно за то, что он так обращается с нею. Она покраснела, но сделала вид, будто ничего особенного не случилось, и продолжала его раздевать. Когда отец поднял ногу, чтобы мама стянула сапог, я не выдержал и бросился на помощь. Но опоздал — отец не удержал равновесия и рухнул на пол.

Сестры испуганно вскочили. А мама стала поднимать нашего отца, подхватив его под мышки.

— Надоела ты мне, — хрипел хозяин; а когда маме наконец удалось все-таки его поднять, он заорал: — Убирайся прочь, старая ведьма! — и наотмашь ударил маму по лицу.

Я вскрикнул и метнулся было к отцу с кулаками. Но вспомнил, что старших надо чтить при любых обстоятельствах, и ноги мои словно приросли к полу.

Мама стояла, закрыв лицо руками. Ее позорили при

детях. Да и сам отец так опозорился, что дети уже никогда не смогут сказать о нем, что он благородный человек. Мама опустила руки и впервые в жизни посмотрела отцу прямо в глаза!¹ Этим она как бы сказала, что больше не считает его хозяином в доме, что она лишает его своего уважения.

— Неужели для этого вы вернулись с войны? — резко спросила она и заплакала.

Отец, видно, не ожидал такого от всегда покорной жены и, нам показалось, вдруг протрезвел. Но в следующую минуту мы услышали его хриплый голос:

— Ах вот как, ты недовольна, что я вернулся?!

Марифа-апа решила погасить разгорающийся скандал.

— Отец,— сказала она как можно мягче,— мама так не думает. Если бы вы только знали, как она ждала вас! Думала, когда вы вернетесь, то и радость вернется в дом...

— А ты молчи! — оборвал ее отец.— Кто ты такая, чтобы делать мне замечанья?!

— Послушайте,— вмешалась Саифа,— не говорите так. Мама никогда не смотрела вам прямо в лицо. Но вы ударили ее, обидели... Мы вам не позволим бить маму.

Мама стояла, покачивая головой, словно не зная, на что решиться, но вдруг осевшим голосом сказала:

— Ну-ка уходите все отсюда! Мы сами разберемся, кто прав, кто виноват,— и выпроводила нас всех в другую комнату.

Долго не выходила мама из мехманханы, выясняя отношения с отцом. Наконец она появилась с опухшими глазами и покрасневшим носом. Не глядя на нас, прошла на кухню. Мы молча двинулись за ней.

— Боже мой, почему я такая несчастная,— приговаривала мама, принимаясь готовить ужин.— Первый муж Марифай погиб от рук негодяя... десять лет просидела вдовой, только чтобы не было у моих девочек отчима. Но родичи, это все они... настояли, чтобы вышла замуж. Говорили — нужен сын тебе, наследник. И вот результат... Наследник есть, а счастья нет!

Речь шла обо мне. И не знаю почему, я почувствовал себя в чем-то виноватым. Бросился к маме, обнял ее за шею и заревел. Мама поняла, что неосторожным словом

¹ По восточному обычаю, когда муж ругает жену, она не имеет права смотреть ему прямо в лицо.

ранила меня в самую душу, она прижала меня к груди и, нежно целуя в глаза, прошептала:

— Анварджан, сынок, благодарю бога за то, что ты есть у меня!

Теперь уже мы плакали вместе, и я понимал, что дорожке мамы у меня никого нет на свете и я не могу, не должен обмануть тех надежд, которые связаны у нее с сыном.

— Мамочка, не плачьте! — это был голос Марифы.

Я поднял голову.

— Говорит, что уйдет, — пусть уходит, — продолжала Марифа. — Не будет вас мучить. Видно, судьба такая... Каким хорошим он был до войны. А теперь... Пусть уходит.

Мама понимала, что Марифа произносит эти жестокие слова из любви к ней, жалеет ее, но все-таки прервала старшую дочь:

— Не говори так. Разве замуж выходят, чтобы развестись?! Даст бог, Усман-ака образумится, станет прежним.

В эту ночь мама почевала в комнате сестер, но уснуть, видно, не могла. Долго слышал я доносившиеся оттуда вздохи и горестный шепот: «О боже!»

Мама ждала чуда, надеялась на бога, которого, как говорили нам учителя, не было. Но если его нет, почему же тогда люди, в особенности старики, возлагают на него столько надежд?

Этот вопрос давно занимал меня, возбуждал воображение. А может, учителя не правы и он есть, этот бог?! Тогда почему же не доходят до него человеческие мольбы? Взять хотя бы тетушку Хамби! Уж как страстно умоляла она его оставить ей в живых хотя бы одного сына! И что же?! Где она, милость божья, где его всемогущество?!.. А мольбы мамы? Всякий раз, когда новое несчастье обрушивалось на наш дом, она поднимала глаза к небу, ждала оттуда спасения, помощи от бога. Но ни разу, ни единого разу он не помог ей. Почему?

Мысли мои шли дальше, множились, причудливо переплетались, и вот уже мне пришло в голову безумное желание превратиться во всемогущее существо. Уж тогда ни одной мольбы, ни одного желания я не оставил бы без внимания. Я-то знаю, что такое горе, страдание, отчаяние, я прошел через них вместе со своей семьей, со своей матерью.

Я лежал в постели с открытыми глазами, натянув до подбородка старенькое, латаное одеяло, и представлял се-

бе шахские хоромы и живущего в них бога. Конечно же на боге бархатный красный халат, расшитый золотом. Сапоги тончайшей кожи, тоже красные; белоснежная чалма усыпана драгоценными камнями. Одет точь-в-точь как шах. Тут мои мысли заметались. Во-первых, я плохо себе представлял, что такое драгоценные камни, о которых слышал от мамы, когда она рассказывала; во-вторых, все сказки в один голос утверждали — не может быть шах добрым, справедливым. Ведь он ничего не делает сам, у него одних слуг целая армия. Девушки-пери услаждают его слух райским пением...

И грош цена такому богу, который похож на шаха. Обыкновенный человек, если он справедливый, добрый, великодушный, куда нужнее всем-всем на земле — уж он-то не откажет в помощи, если к нему обратится страждущий.

Но ведь таким был мой отец и до войны, и когда вернулся с фронта. Не зря же люди со всего кишлака шли к нему за помощью, за советом. Что же случилось с ним, с моим отцом, почему он стал пить?! Неужели друзьям Алмату и Миркашифу удалось втянуть его в свою компанию? Или они тут ни при чем? Может, есть какая-то другая причина?

Как мне было ни обидно, а от кандидатуры отца на роль бога пришлось отказаться. Скорее всего, решил я, на него похож мудрый, добрый Шермат-бобо. Никто в кишлаке точно не знал, сколько лет аксакалу. Говорили, за сто. А еще говорили — всю жизнь был честным, трудился как палван, жил скромно, потому и живет долго.

Я представил бога в облике Шермата-бобо, вроде бы получалось неплохо. «Так что же это получается, — вдруг пришла мне в голову мысль. — Если я хочу стать всемогущим, значит, должен походить на Шермата-бобо?!» Я некоторое время размышлял на эту тему и пришел к выводу, что это не так уж и плохо — походить на столь уважаемого и достойного человека.

Итак, образ бога я в воображении создал, теперь осталось только превратиться в него и начать творить добрые дела. Надо сильно, страстно, всей душой захотеть — и тогда забьются за твоей спиной крылья, и ты взмоешь ввысь, расположишься где-нибудь на облаках и будешь оттуда смотреть на землю, жаждущую твоей помощи.

Но с чего начать свои добрые дела? Э, в этом деле нельзя спешить, надо делать все по порядку.

Память вернула меня к первым моим самым сильным

потрясениям. Я бы, будучи всемогущим, отвел топоры, от ударов которых погибла моя яблоня,— это было мое первое страдание, моя первая потеря. «Яблонька моя, не бойся! — закричал я, совершенно забыв, что все вокруг спят.— Я спасу тебя!»

Вдруг я почувствовал сильный удар ногой лежавшей рядом Саифы-апа. Сквозь сон она прошипела:

— Балбес, я тебе сейчас покажу яблоньку! Только зори еще раз на весь дом.

«У, рыжая ведьма! — обругал я мысленно сестру.— Нет от тебя покоя ни днем ни ночью».

Молча посетовав на сестру, я решил все-таки довести до конца список добрых дел, которые предстоит осуществить мне.

Яблонька уже возвращена в наш маленький двор. Это я успел. А вот теперь... Я вспомнил горе нашей семьи, лишившейся козы-кормилицы, а заодно и козлят. Надо наказать волка и вернуть козу в наш сарай.

Но что это я о яблоньке да козе? Надо вернуть маме Эркина, нашего младшего братика,— излечить в ее сердце боль о нелепо погибшем сыне. И другую рану в маминем сердце излечил бы — как страдает она оттого, что любимая ее Саифа стала хромой... А ее любимый зять Зиятбай? Его я непременно верну в нашу семью... Да, чуть не забыл, ведь есть еще златоволосая Рихси, живущая надеждой отыскать когда-нибудь своих маму, папу. Я помогу ей, я сделаю так, что она найдет их и больше никогда не расстанется с ними, никогда не потеряет.

И наконец, главная наша забота — отец! Он станет прежним — добрым, нежным, подтянутым. Глаза мамы вновь наполнятся радостью, когда отец будет возвращаться по вечерам усталый и голодный, а за ужином станет спрашивать нас о делах, об успехах в школе; а потом, всей семьей, мы удобно устроимся вокруг жаркого сандала, и отец примется рассказывать всякие истории, мы будем слушать и смотреть на него влюбленно и преданно.

«Ата, атаджан! — закричал я, плача от радости.— Не бойся, ты опять хороший, мы все любим тебя!»

Новый удар в бок не заставил себя ждать — Саифа расвирепела.

— Если ты сейчас же не успеешь, отдеру тебе уши,— пообещала она.

Я застонал, всхлипнул и схватился за бок. Нет, уснуть я не мог, а все продолжал плакать, сам не зная отчего: от-

того ли, что ныло в боку, или оттого, что злая Саифа помешала мне вернуть счастье в нашу семью.

«Прости меня, яблонька,— шептал я,— прости, отец, все простите. Это рыжая ведьма, она виновата, что не стал я всемогущим...»

ДО СВИДАНИЯ, МАРИФА-АПА

В один из зимних дней отец не вернулся домой. За ужином Рихси, опустив голову, несмело сказала маме:

— Папа Усман велел передать, что уходит, что искать его не надо.

Я сначала не понял, о чем речь, но мама, словно объясняя нам, что произошло, горько заключила:

— Это она, проклятая, увела его из дома, водка...

В голосе мамы слышались и горечь, и безмерная усталость.

Отец последние дни стал просто невыносим, почти каждый вечер кончался для мамы слезами. И все-таки я был поражен тем, что мама говорит об уходе отца так спокойно, точно давно смирилась со своей судьбой. Но ведь надо же он отец, мы любим его, мы так ждали его возвращения с войны! Нам казалось тогда, что каждый день с ним будет счастливым. И вот... Как же это можно, в мирное время потерять отца?! У меня в голове это не укладывалось, а душа разрывалась от горя. Мне хотелось немедленно отправиться на его поиски, сказать, что нам он нужен, хоть какой, даже... Эх... Я бросился было к маме с просьбой отпустить меня на поиски, но она отстранила меня равнодушной рукой и сказала:

— Ему сначала не к нам надо возвратиться, к себе! Стать таким, каким он был!..

И я почувствовал свое бессилие — ничем я не облегчу ни ее страданий, ни отцу не смогу помочь и его беде. Лишь поклялся самому себе, что никогда в рот не возьму эту прозрачную вонищую жидкость, столько раз проклятую мамой. Она может превратить в жалкое, отвратительное существо даже такого умного и хорошего человека, как мой отец.

Семья осталась без кормильца, без мужчины, без опоры. И кто знает, может быть, поэтому решилась Марифа на поступок, за который раньше я бы осудил ее с беспощадным детским максимализмом.

Дело в том, что в один прекрасный день вновь явились

в наш дом сваты. Надо сказать, калитка нашего двора никогда не закрывалась. В ту пору, когда отец только вернулся, стали соседи, да и знакомые из других махаллей приходить к отцу посоветоваться, просто поговорить о жизни, о событиях в мире. Затем стали являться к маме ее заказчицы; охотно приходили и молодые вдовы к Марифе, чтобы вместе поплакать, погоревать.

Поэтому, когда однажды во двор вошли две женщины и мужчина, мы отнеслись к этому как к чему-то обычному.

Правда, я тут же понял, что люди эти пришли издалека — это заметно было по их усталому виду, да и обувь на ногах была пыльной. А кроме этого, платки у женщин были надвинуты низко на лоб, в нашем же кишлаке их повязывали по-другому.

Женщины, ни молодая, ни старая, не привлекли моего внимания, а вот мужчина понравился — были в нем степенность и благообразность, глаза его глядели приветливо, умно.

Осенние дни стояли ясными и теплыми, все мы по-прежнему основную часть времени проводили во дворе. Рихси, я и Мазифа сразу же окружили гостей, но мама опередила нас.

— Проходите, добро пожаловать! — пригласила она; но прежде чем провести гостей в дом, крикнула Саифе: — Доченька, расстели курпачи в мехманхане.

Пока мама обменивалась традиционными приветствиями, расспросами о житье-бытье с каждой женщиной в отдельности, а потом с мужчиной, Саифа приготовила комнату к приему гостей. Все вошли в дом. Саифа стала хлопотать на кухне, готовить угощение.

Мы, дети, все ждали, когда же и нас позовут в мехманхану, но о нас словно забыли. Даже обедали мы отдельно, во дворе. После обеда из дома вышла мама, поманила меня и попросила почему-то шепотом:

— Сынок, сбегай, позови тетушку Шафаат и Хаджи-аксакала.

Я догадался, что это неспроста. Видимо, мама хочет с ними посоветоваться. Но о чем?

Тетушка Шафаат и Хаджи-аксакал пришли в дом, и опять все тихо.

Только вечером после ужина узнали мы, что за гости пожаловали к нам. Это были сваты из Паркента. Оказывается, племянница отца, Анзират, направила их к нам, расписав достоинства и красоту нашей Марифы.

То, что пришли сваты, это для меня не было особым событием. Но вот согласие Марифы меня поразило. И не только меня, Саифа тоже сновала по двору сама не своя. Кажется, мы одинаково сильно волновались, хотя и думали по-разному. Саифа сгорала от обиды, от зависти, страдала от сознания своей неполноценности, а еще больше оттого, что не могла скрыть своих чувств.

Когда мама, на несколько минут оставив гостей, вышла во двор, Саифа подскочила к ней точно ужаленная и с горечью сказала:

— Стараетесь для своей Марифы! А у вас ведь и еще дочери есть.

Мама растерялась. Что она могла ответить своей любимице, за судьбу которой изболелась вся ее душа!

— Доченька,— проговорила она, словно извиняясь.— Для Марифы, пока я жива, всегда есть место в этом доме. А не будет меня? Что тогда? Давай лучше порадуемся, что жизнь ее наконец устроилась.

Я тоже страдал, но совсем другие чувства владели мной. Я не мог понять: почему Марифа так резко отказала человеку из нашего кишлака, человеку, которого она хорошо знала, и дала согласие жениху, о котором и понятия не имела? Что заставило ее это сделать? Ведь теперь она уйдет от нас, уйдет так далеко, что и в гости не сходишь, да еще и Камала заберет.

Сваты уехали обрадованные, а мама стала готовиться к предстоящей свадьбе. Стирала, штопала, что-то шила, примеряя на Марифу. Старшая сестра равнодушно относилась ко всем маминым хлопотам, ни тени радости не было на ее лице. Она лишь имела вид человека, покорившегося судьбе.

СВАДЬБА

У нас в доме еще никогда не было свадьбы. Конечно, я, как и все мальчишки кишлака, был завсегдатаем на всех тоях. Но одно дело смотреть на пир откуда-нибудь с дувала, а другое — быть хозяином, самому принимать и угощать гостей. Я был переполнен ожиданием радостных событий, хотя и не мог до конца разобраться — чего же мне больше все-таки хочется, чтобы во дворе нашем гремели карнаи, сурнаи, кипел праздник такой, что собирает весь кишлак, или чтобы Марифа-апа переменила решение и осталась с нами? Ведь свадебный той — хоть это большой

и необычный праздник,— он быстро кончится. А вот Марифа-апа — это праздник ежедневный.

И все-таки вольно или невольно в мое воображение, в мои мечты властно врываются картины свадебного торжества — очень уж велико было мое желание, чтобы и у нас, в нашем маленьком дворике, было по-настоящему весело, празднично и торжественно. А то все беды да несчастья, слезы и причитания. С какой завистью я смотрел на мальчишек, в чьих дворах проходил той — по случаю рождения ребенка или свадьбы.

Со свадебным тоем, конечно, не мог соперничать ни один другой. Я грезил наяву — мне виделся наш новый зять, жених Марифы-апа. Он приедет из далекого и загадочного Паркента — в ослепительно белой чалме, расшитом золотом халате и хромовых сапогах. Конь под ним будет золотогривый. А сам он — красавец палван. Среди этих грез я вдруг вспоминал всегда так скромно одетого Зиятбая-ака, и мне становилось стыдно. И тут же мое воображение текло по иному руслу. Я начинал мысленно разыгрывать сцены свидания Марифы и погибшего Зиятбая. То я произносил монолог от лица Марифы, то от лица Зиятбая. Вот Марифа-апа просит прощение у своего мужа, и я нахожу самые жалостные, самые трогательные слова. Вот Зиятбай умоляет свою жену не забывать его, не оставлять одного там, в далеком краю, откуда он не вернулся. Но кончались эти сцены, как правило, неопределенно — я ведь не знал, что на самом деле думает моя старшая сестра.

Она ходила молчаливой, задумчивой по двору, по квартире — словно смотрела на все окружающее и не могла насмотреться. В такие минуты мое сердце пронзало чувство жалости, мне хотелось помочь ей, как-то облегчить ее участь, но я не знал — как. Моему детскому сердцу были еще непонятны ее тревоги и думы, мне были еще неизвестны сложные законы жизни, заставляющие или торжествовать победу, или покоряться судьбе.

Наконец-то день, которого я так ждал, наступил. С утра, чуть забрезжил рассвет, я уже был на ногах; вместе с мамой, Марифой и родственниками встречал посланцев жениха. Во дворе разгружали подарки для невесты, снимали с арбы мешки с рисом, морковью, котлы для плова и шурпы, мясо. Я сновал меж незнакомыми людьми и старался во всем принимать участие.

Двор постепенно заполнялся гостями, шли с нашей ма-

халли, а также знакомые из средней и верхней махалли. Все ждали прибытия жениха. И только ошпазы¹ невозмутимо занимались своим делом: разводили огонь под котлами, промывали рис, шинковали морковь, нарезали мясо. Одним словом, готовили свадебное угощение. Вдруг, словно шелест ветра, пронесся шепот: «Едет, жених едет».

Я бросился через открытые ворота на улицу — вот сейчас, сейчас запоют торжественно карнай и сурнай, загремят радостные бубны, оповещая весь кишлак, весь мир о том, что во дворе Усмана-ака — той.

Но вместо этого я увидел скромную процессию — на подводах приехали друзья жениха. Сам он хоть и был верхом, но от того героя, каким нарисовало его мое воображение, был далек. Я готов был расплакаться, у меня было такое чувство, будто меня обокрали.

Мне, мальчишке, тогда было невдомек, что свадьба, когда женщина выходит замуж во второй раз, проходит совершенно по другому ритуалу.

Жених пришел в дом, и туда же устремились самые почетные из гостей. Я прорваться в дом не сумел — меня отеснили к летней кухне, и я стоял там растерянный и несчастный — не было того ослепительного фейерверка веселья и радости, который я ожидал. И даже обряд бракосочетания проходил без меня. Когда жених и невеста показались наконец в дверях айвана, я, работая что есть силы локтями, пробрался все-таки поближе — надо же было как следует рассмотреть будущего зятя. Высокий, стройный, одет скромно, но держится с достоинством. Особенно же мне понравились глаза — добрые, приветливые.

Как только молодые стали спускаться по ступеням, их осыпал дождь монет. Затем родственники жениха стали рассыпать вокруг джиду, сушеный урюк, курт, мелкие монеты. Мальчишки бросились подбирать это богатство.

— Эй, Анвар! — подтолкнул кто-то меня. — Что же ты?! Подбери! Это освящено. Это принесет счастье. Бери.

Я стоял неподвижно, не решаясь наклониться за монеткой или шариком курта, хотя и обожал его.

— Анвар! — вновь сказал кто-то. — Бери скорей, загадывай желание!

Но я все раздумывал — то мне хотелось так же радостно и безоглядно, как мои приятели, кинуться за освященными монетами, то вдруг меня пугала мысль: а не украду

¹ Ошпазы — повар.

ли я тем самым счастье Марифы? И я так и не посмел урвать себе кусочек счастья от счастья, предназначенного для сестры.

Скромно шла свадьба Марифы, и была она недолгой. К вечеру те самые подводы, на которых привезли подарки, были готовы, чтобы увезти Марифу из нашего дома.

Сестра переоделась для дороги и выглядела совсем не празднично. К глазам она то и дело подносила платок. Мама, сестры успокаивали ее, я же готов был крикнуть жениху, чтобы ехал прочь один, без Марифы, которая там, вдали от родного дома, умрет от горя.

Мама обняла свою старшую дочь и сказала:

— Дочка, судьба твоя такая — покинуть нас.

Я возмутился — при чем тут судьба, ведь это она, мама, первой дала согласие на ее замужество. Это она благословила дочь на то, чтобы та забыла зятя Зиятбая. Кто объяснит мне — почему она так поступила и почему так говорит?!

Марифа уходила, и никто, никто не пытался ее удержать. Я бросился к ней, обвил ее ноги и зарыдал.

— Сестра, сестричка моя милая! — выкрикивал я сквозь слезы. — Не покидайте меня! Я вас люблю. Больше всех люблю! Не покидайте!

— Отступись! — мать резко оттолкнула меня и, подхватив сестру Марифу под локоть, повела на улицу.

Ее поступок обидел меня, оскорбил. За что мама обидела меня? Только за то, что я посмел сказать сестре то, чего никто не хотел сказать: Марифа, не уходи, если тебе не хочется уходить. Не совершай поступка, который противен твоему сердцу, твоей душе!

Если бы я только был большим, если бы я был сильным, уж я бы помог Марифе решить свою судьбу так, как она хочет. А сейчас...

Я мог лишь сквозь слезы видеть, как подхватили мою старшую сестру под руки, усадили на арбу. Послышался окрик: «Эней, милые!» — просвистела камча, подбадривая коней, и под печальную песню, предназначенную для проводов, тронулась процессия.

Последнее, что я слышал, были слова Марифы-апа, обращенные ко мне:

— Золотой мой, не забывай свою сестру!

Постепенно двор опустел, мама и наша родня принялись за уборку.

Саифа собрала всех сестер и меня и повела в большую комнату.

— Ну-ка, цыплята мои, садитесь поближе,— сказала она, устраиваясь на еще не убранной праздничной курпаче.— Теперь я буду за старшую. Видели, Марифа-апа бросила нас.

— Нет, нет,— сказала Мазифа и тихо заплакала,— сестра Марифа нас не бросила. Завтра прибежит к нам...

— Она же любит нас,— поддержала ее Рихси,— конечно, завтра же убежит оттуда...

— «Убежит», «прибежит»! — передразнила их Саифа.— Да кто это от мужа бегаёт? Вот когда я...— Тут она осеклась и замолчала.— Ну-ка, Мазифа, спой нам песню «Подснежник»,— резко переменяла тему Саифа.

Мазифа удивленно уставилась на сестру, а та уже со слезами в голосе повторила:

— Спой!

Когда подснежник расцвел,
Сварили айран из него...—

запела Мазифа тонким голоском. Саифа и Рихси подхватили грустную и нежную мелодию, а я смотрел на них и думал о том, что никогда теперь не будет сидеть с нами сестра Марифа, о том, почему же все-таки дала она согласие жениху из далекого Паркента.

Но ответ на этот вопрос пришел ко мне позднее. Нет, не забыла Марифа Зиятбая и потому не могла выйти замуж в кишлаке, где все его знали, где все напоминало о нем. И когда поняла, что жизнь свою ей все-таки устраивать как-то надо, решила: уж лучше уехать в чужие края.

ПАДЕНИЕ КУМИРА

А жизнь в нашем маленьком дворе шла своим чередом, и постепенно, как это мне ни казалось невозможным, мы привыкли к тому, что за дастарханом теперь не хватало трех дорогих нам людей — отца, Марифы, Камала. И если с судьбой старшей сестры я примирился, то судьба отца приносила мне страданье.

Немногие вернулись с войны, думал я, отцу повезло, он вернулся, так как же это возможно — пропасть без вести в мирное время? Вот уже год он не давал о себе знать. Где он, что с ним?! Каждый вечер я ждал знакомого стука в калитку. Но напрасно.

С неразлучным другом Турдыбаем мы уже ходили в третий класс. По дороге в школу мы разыгрывали всякие истории, особенно нам нравилось воображать себя героями войны, бесстрашно побеждающими врага. Игрой в войну мы увлекались до той поры, пока не произошла с нами реальная история, связанная с последствиями страшной войны.

Мы с Турдыбаем конечно же слышали от старших, что тетушка Хамби окончательно свихнулась, но никогда больше не встречали ее в кишлаке.

И вдруг... Мы шли по берегу сая в школу, как всегда громко разговаривая и смеясь, когда перед нами неожиданно возникло странное существо. Седые космы ниспадали до пояса, поверх рваного черного платья одета такая же драная и грязная душегрейка, на изможденном лице горят каким-то запредельным огнем ввалившиеся глаза.

Существо это мне напомнило человека в лохмотьях. Да, они были похожи в своем безумии, в своем потерянном виде.

— Это же безумная Хамби,— дернул я за руку Турдыбая.— Бежим.

Но было поздно.

— Мой барашек,— обратилась вдруг к нему старуха.

И мы удивились тому, как ласково прозвучал ее голос.

— Почему боишься меня? Я никого не обижаю. Если спросишь у людей, какой была Хамби, тебе скажут: «Она была красивой и доброй женщиной. Но лишилась трех сыновей и стала ненормальной». И аллах не пощадил их, чтоб упасть ему навзничь с неба.

Мы слушали безумную Хамби с открытыми ртами и не находили в ее словах ничего ненормального. Единственно, что в ней было из ряда вон выходящее,— запах. Тошнотворный запах немытого тела и грязного отрепья.

— Ты сын аксакала Хаджи. Твоя мать Шарафат хорошая женщина,— продолжала старуха и приблизилась к нам настолько, что стало нечем дышать от смрада, исходящего от нее.— Не дай вам бог пережить своих детей, жаль, что вы еще не понимаете этого.

Старуха умолкла и громко высморкалась. Мы с Турды стояли точно замороженные, надо бы убежать, да ноги не двигаются с места. Мы терпеливо ждали, что будет дальше.

— Жеребенок мой,— это тетушка Хамби обращалась уже ко мне.— Ты сын Арифы. И твоя мать хлебнула горя.

Жаль мне ее. И ты жалеешь свою мать. Негодяй Усман пьет, бродяжничает где-то, а Арифа семью кормит, детей растит.— Вдруг старуха рассмеялась:— Вижу, ты стоишь и думаешь: «Ну, завела свою песню сумасшедшая Хамби». Многие так считают. И обращаются со мной как с сумасшедшей. А я... я просто несчастная мать. Нет мне жизни без моих сыночков. Понимаешь ли, жеребенок мой?

Я беспрестанно кивал головой, мол, понимаю.

— Если понимаешь, это хорошо,— вроде бы успокоилась Хамби. Она на минуту задумалась, а затем неожиданно спросила меня:— Вот если бы ты потерял трюх сыночек, что бы ты испытал?

Я растерянно молчал. Что я мог ответить? Как мне представить себя отцом или матерью, как понять, что испытывают они? Вот если бы она спросила, что бы я испытал... Но закончить мысль я побоялся. Одной только мысли я ужаснулся: что было бы, случись что-нибудь с матерью!

— Молчишь? — опять раздался ласковый голос старухи.— Да где уж тебе, несмышленишу, ответить. Вырастешь, поймешь... А я... Мне давно пора к моим детям. Да вот бог смерти не дает.

— Тетушка Хамби,— осмелился я обратиться к старухе.— А зачем вам умирать? Не надо, живите!

— Ах, жеребенок мой,— опять невесело рассмеялась тетушка Хамби.— И это когда-нибудь поймешь. Умереть бывает легче, чем жить.

Она замолчала, и мы с Турды не решались нарушить молчание.

— Эй, сумасшедшая,— раздался чей-то строгий окрик.— Уйди, не пугай детей!

Мы оглянулись, к нам подходил наш первый учитель, Мирали-ака.

Тетушка Хамби тоже узнала его, обиженно спросила:

— Мирали, почему гонишь меня, разве не помнишь, как в войну я делилась с тобой пшеничными отрубями? А этим крошкам я зла не желаю.

Тетушка Хамби приблизилась ко мне почти вплотную и протянула руку, чтобы погладить меня по голове.

— Прочь, сумасшедшая! — закричал Мирали-ака и оттолкнул от меня старуху.

Тетушка Хамби не удержалась на ногах и упала. Я бросился к ней, принялся ее поднимать. А затем обернулся к учителю.

— Мирали-ака,— спросил я дрогнувшим голосом,— зачем вы толкнули старого человека? Вы же сами нас учили уважать старых.

Мирали-ака стал оправдываться:

— Но ведь она сумасшедшая. От нее можно ждать чего угодно. Я хотел уберечь тебя...

Но я уже не слышал того, что говорил домла Мирали. Я бежал прочь от того места с единственной мыслью: «А ведь первый учитель говорил нам одно, а сам совсем не такой...»

БЕДА, О КОТОРОЙ МЫ НЕ ЗНАЛИ

Я не любил, когда кто-нибудь из соседей начинал расспрашивать меня об отце. Мне было больно слышать вопросы о том, где он, по-прежнему ли пьет, не женился ли на другой?! Я старался уклониться от ответов и долго еще потом переживал, переполненный воспоминаниями об отце.

Известие о нем пришло неожиданно и внесло смятение в наш семейный мир.

Я только-только возвратился из школы, успел разве что портфель в угол забросить, как скрипнула калитка и во двор вошла незнакомая девушка.

Я выбежал навстречу и выжидательно уставился на нее.

— Ты Анвар, да? — спросила она меня. — А мама твоя дома?

— Дома,— удивленно ответил я. — А что?

— Пусть она выйдет сюда, скажи ей.

Я побежал на кухню, схватил за руку маму, потянул за собой.

— Девушка какая-то просит вас.

Мама удивилась не меньше меня, девушка была явно не из нашего кишлака.

— Проходите, доченька,— она приобняла незнакомку,— проходите в дом.

— Спасибо, но я спешу,— остановила девушка мать. — Я по делу.

Мама насторожилась, но на расспросы не решалась, сказала лишь:

— Ну раз пришли, будьте уж гостьей.

— У меня столько дел,— сказала незнакомка. — Усманли-ака... ваш муж... очень уж просил, вот и пришла.

Руки мамы задрожали, она бросила испуганный взгляд на девушку, осторожно спросила:

— Что с ним?

— Усман-ака болен. Я медсестра районной больницы. У нас он лежит.

Мама поднесла широкий рукав платья к глазам, перебила гостью:

— Что-нибудь серьезное?

Медсестра мягко положила руку маме на плечо, сказала успокаивающе:

— Не переживайте так, постараемся ему помочь. Оказывается, после ранения в голову осколок у него остался. Головные боли его уже давно мучили, а в последнее время стали просто невыносимыми.

Мама в растерянности и смущении слушала медсестру. Она теперь стала догадываться, почему пил отец. Наверное, он... хотел заглушить боль. А она, его жена, не поняла этого, не помогла вовремя. У мамы был такой виноватый вид, точно на смотринах она разбила священную фарфоровую посуду и опозорилась навсегда. Этой священной фарфоровой посудой был отец.

— Да не волнуйтесь вы, будем лечить вашего мужа,— повторила медсестра и стала прощаться.

— Стойте,— крикнула ей вслед мама.— Скажите Усману-ака... Хотя нет, не надо, я сама все скажу.

В этот же вечер она стала готовиться в дорогу. В доме у нас было необычно тихо — не знаю почему, но каждый из нас чувствовал себя немного виноватым перед отцом.

Никто из нас не догадался о его тайных муках и страданиях, мы не помогли ему в трудную минуту. Но даже и тогда, когда мы не знали о его беде, мы не должны были позволить уйти ему из дома. Надо было бороться до конца, надо было помочь ему избавиться от недуга.

Рано утром всем семейством отправились в район. Но невеселым было наше свидание с отцом, оно оставило во мне тягостное и тревожное чувство.

Он похудел, постарел, глаза его смотрели угрюмо и безысходно. Казалось; в нем не было сил бороться со своей болезнью. Нам он вроде бы обрадовался, но улыбка его была такая жалкая, что стало как-то не по себе. Уходили мы без надежды в душе.

Всю обратную дорогу мама плакала. Я спросил у нее: поправится ли отец, вернется ли к нам?

— Не знаю,— прошептала она, глотая слезы.

ДОЛГОЖДАННАЯ РАДОСТЬ

Бывают такие мгновения в жизни, когда ты и сам себя не понимаешь — вроде бы одна половина существа твоя, а другая — чужая. Не знаешь — радоваться или печалиться. Наверное, это оттого, что радость и печаль идут рука об руку.

Стояли последние дни осени, а холодов еще не было. В природе все было тихо, умиротворенно. Вот в эти тихие дни неслышно, словно крадучись, пришла в наш дом радость.

В долгие осенние вечера мы все крутились возле Саифы, но она почему-то не обращала на нас внимания. Необычно задумчивой была сестра в последнее время, и мы, не понимая, что с ней, пытались детскими своими шалостями расшевелить ее. Но тщетно.

— Оставьте Саифу в покое,— сказала мама.— Вы — дети. Вот и играйте в детские игры.

Но игры почему-то не клеились.

Вот и в тот день тоже. Я слонялся по дому, обшарил все полки в поисках чего-нибудь съестного и, не найдя ничего, подошел к Рихси. Она рисовала узоры на запотевшем стекле.

— Ну как? — Рихси обернулась ко мне.— Получилась у меня корова?

Я посмотрел на стекло и закричал: «Эй, гляди, к нам гости». Во двор вошли две женщины — маленькая горбатая старушка, прикрывавшая лицо платком, и молодуха в бархатном камзоле. У меня екнуло сердце при их виде — не знаю почему, но я решил, что это свахи.

— Эй, красавица,— дребезжащим голосом, с сильным присвистом из-за отсутствия передних зубов позвала старая.

Мы с Рихси уже стояли в дверях веранды и с жадным любопытством разглядывали незнакомок.

— Детки, мама дома? — это уже обращалась к нам молодуха.

— Она у тети Махи,— ответили мы враз.

— У нас важное дело,— растерянно проговорила молодуха.

— Беги за мамой,— шепнула мне Рихси и стала приглашать гостей в дом.

Я помчался к соседям.

Мама и тетушка Махи сидели во дворе на берегу арыка, соседка жаловалась на своего мужа, а мама ее утешала.

— Пришли гости, вас спрашивают...— завопил я от самой калитки.— Да быстрее же, они по важному делу.

Мама даже забыла отчитать меня за то, что я закричал, не дождавшись окончания их разговора. Она резко поднялась — «важное дело» заставило ее поспешить.

При виде женщины мама растерялась, ее явно смутили их дорожные наряды — видно, были они из зажиточной семьи.

В мехманхане она усадила старшую на самое почетное место, попросила Рихси расстелить дастархан и заварить чай. Начались расспросы о здоровье, разговоры о погоде — я сгорал от любопытства. Судя по всему, мама тоже изрядно нервничала.

— Арифахон! — сказала наконец старая. — Мы пришли породниться с вами.

У мамы пиала дрогнула в руке. Она вскинула вопросительный и в то же время испуганный взгляд на старушку — уж не ослышалась ли она. Но та подтвердила:

— Да, да, породниться.

— Хорошо сделали, что пришли. — Мама так вся и засыяла. — А у меня с утра веко подергивалось. К чему бы это, думаю.

— К радости, к счастью эта примета, — закивала старушка. — У меня единственный племянник. Он со мной пришел из Карахтая. Очень уж ему приглянулась ваша дочь. И если суждено...

— Да, девочка моя стала взрослой, — сказала мама, и голос ее дрогнул. Она опустила голову, чтобы скрыть набежавшие слезы. Как ждала мама этого дня, как переживала за свою ненаглядную Саифу.

Мы с Рихси, стоя подле двери, радостно толкали друг друга локтями.

— Вам не только одну, десять дочек отдам, — продолжала мама, справившись с волнением. — Но свадьбу делать не просто...

— И у нас особенно богатства нет, все война проклятая вытряхнула. Да уж как получится... Посоветуйтесь с родными. Если согласятся, назначим день свадьбы.

— Сара-апа,— обратилась к ней мама,— с кем же мне советоваться? Мать, братья в городе. Не смогу поехать туда, далековато.

Женщины вроде бы даже обрадовались.

— Решайте сами... скажете: завтра — так завтра же и устроим свадьбу.

— Что я могу сказать...— мама от волнения даже стала заикаться.— Я согласна...

— Ну что ж,— заключила старшая,— завтра придут мужчины, чтобы разломить лепешку.

...И вновь меня охватило нетерпеливое ожидание праздника, я не знал, чему отдать предпочтение — радости или печали.

Как хорошо, говорил я Рихси, что Саифа наша теперь будет счастлива. Нет, нет, тут же я брал свои слова назад, это нехорошо, что сестра уйдет от нас. Мы просто не сможем без нее.

Зачем только мама дала согласие? Тут мои мысли потекли по другому руслу — почему мама не захотела ни с кем советоваться? Ни с родственниками, ни с соседями. Неужели она боялась упустить сватов? Боялась, что никогда более не представится Саифе такая возможность?

На дворе уже было темно, а Саифа почему-то задерживалась. Мы с Рихси так и не дождались ее у калитки — нам хотелось первыми сообщить сестре нужную новость и получить суюнчи, но вечерний холод загнал нас домой.

Когда же наконец хлопнула дверь на веранде, мама, опередив нас, кинулась навстречу Саифе. Обняла ее нежно, погладила по голове. Сестра удивленно и в то же время вопросительно уставилась на маму. Мы дружно выглядывали из-за маминой спины.

— Да в чем дело, говорите! — воскликнула нетерпеливо Саифа.

— Дочка моя! — начала мама, счастливо улыбаясь.— Не спросила тебя и дала согласие...

— Какое согласие, на что? — в глазах Саифы появилось ожидание, она не смела надеяться на радостное известие и в то же время жаждала его услышать.

— На замужество, доченька,— торжественно проговорила мама.— Сваты приходили нынче.

— Сваты? Ко мне? — она все еще недоверчиво смотрела то на маму, то на пас.

Но счастливое лицо мамы и наши сияющие физиономии, видно, были красноречивее всяких слов. И паша дерзкая, наша гордая сестра разрыдалась. Это были слезы радости.

Но вот она успокоилась и стала прежней Саифой.

— А кто же он такой, мой жених? Может, тоже какой-нибудь хроменький? О! Вот это будет тогда славная парочка.

Мама не выдержала, рассмеялась, а затем замахала на сестру рукой.

— Да ну тебя, языкастая. Парень он отличный, правда, росточком не вышел. Да мужчине не обязательно быть красавцем. Зато из хорошей семьи. Кто не знает домлу Алама!

Саифа напустила на лицо серьезную мину и сказала нарочито строго:

— А ну-ка хвалите мне еще жениха. Еще немного, и я полюблю не только его, но и самого домлу Алама.

— Мухтаром его зовут, — мама не обращала внимания на шутки дочери. — Говорят, что смирный...

— Да, знаю, знаю я его, — прервала его Саифа. — Во время сенокоса он все на меня поглядывал. Скромный уж очень, краснеет, точно девушка. Ну, карлик, вкус у тебя неплохой, жена у тебя будет красавица. Ах да Мухтарбай! Ну ничего, я тебя быстро проучу, оттаскаю пару раз за уши!

— Эй, ненормальная, — мама уставилась на нее с удивлением. — Ты что такое болтаешь? Стыдись, дочка. Ведь пора стать взрослой, серьезной. О аллах! Еще опозоришь меня...

— Не бойтесь, мамочка, я пошутила, — рассмеялась Саифа. — И потом, не обязательно драть за уши, есть и другой способ проучить...

Мама всплеснула руками, запрочитала:

— Нет, вижу, никогда ты не станешь человеком. Тебе бы только высмеивать да издеваться над людьми!

— Моя милая мамочка. — Саифа обняла маму. — Никогда так не поступлю. Вы правильно сделали, что дали согласие. Теперь я всем своим подружкам нос утру. Назначайте день свадьбы.

— В субботу,— ответила мама.

— Хорошо, я согласна. Свадьба так свадьба, все-таки жених похож на человека.

Сестра ушла в маленькую комнату, а мама долго смотрела вслед ей и бог знает, о чем думала...

ПРИМИРЕНИЕ С СУДЬБОЙ

Я не мог еще четко формулировать свои мысли, определять чувства, но это, однако, не мешало мне задумываться над такими сложными вещами, как человеческая судьба, обстоятельства.

Я понимал, что Саифа выходит замуж не потому, что любит Мухтарбека, а потому, что ее вынуждают обстоятельства. Покуда ни случилось с ней несчастье, красивая и гордая сестра моя вела себя независимо с парнями, даже высокомерно. А теперь вот она должна была покориться судьбе. Я мысленно сравнивал Саифу с девушкой из легенды, которая долго ходила по роскошному лугу, усыпанному тюльпанами, все выбирала лучший цветок. Да так долго выбирала, что завяли все цветы. Осталась девушка ни с чем.

А тут хоть Мухтарбек! Но не было радости на лице сестры,— нелегко это, наверное, уходить к нелюбимому.

За три дня до свадьбы собрала нас Саифа, как обычно, всех вместе. Мы обрадовались, мы были готовы на любую шалость. Но Саифа, похоже, забыла все свои проказы. С грустью спросила она верных исполнителей всех своих выдумок:

— Ну, что скажете?

Мы молчали, не зная, куда повернет разговор Саифа-апа.

Она, улыбаясь, смотрела на нас таким взглядом, словно прощалась с чем-то большим, чем родной дом, сестры и братья. Может, она прощалась со своей юностью?!

— Все-таки нехорошо получается.— Саифа покачала с сожалением головой.— Все-таки нехорошо они так... я говорю о взрослых. Конечно, вы избавитесь от сестры, которая все время вас мучила. Но не скучно ли будет вам без меня? Кто будет вам таскать за пазухой лучшие персики, яблоки, груши? Кто вас будет водить на бахчи? А кто по вечерам станет рассказывать всякие истории?

— Саифа-апа,— вдруг всхлипнула Мазифа,— не уходите, пожалуйста, не уходите.

— Почему бросаете нас? — поддержала ее и Рихси.

— Я никому не отдам вас, — сказал я решительно. — Выгоню вашего Мухтарбая из дома.

— Ах, цыплятки мои, — воскликнула растроганная сестра. — А я-то думала. Ну, ничего. Все сладости будут ваши, когда придете в дом зятя. А теперь... — глаза ее блеснули азартом. — Ну-ка покажите, как вы будете горевать, когда меня поведут в дом жениха!

Она подняла за подбородок голову Мазифы:

— Ты, кажется, больше всех меня жалеешь, а?

— Вы... я очень люблю вас, — зарыдала Мазифа.

Сестра Саифа громко засмеялась, а затем погладила Мазифу по голове.

— Ну-ка, Рихси, теперь твоя очередь...

— А как мне плакать, сестра?.. Покажите сами. Вы же пока тут.

— Да ну тебя, рыжая, — Саифа тихонько ударила Рихси. — Уведут сестру твою, а ты даже не сможешь заплакать... Ну, головотяп, — обратилась она ко мне, — покажи этим лентяям, как плакать...

Сложные чувства испытывал я к сестре Саифе. Я, конечно, любил ее, подчинялся ей беспрекословно, но... и ненавидел порой. Ведь ей ничего не стоило отлупить меня, отхлестать по лицу, унижить. Но вот она уходит от нас, и я словно бы теряю частицу самого себя. Теперь мне всегда будет чего-то не хватать. Может, безоглядной удали, бескорыстной дружбы, гордости, непосредственной искренности?!

Я понимал, что сестра Саифа шутила сейчас с нами, шутила, может быть, в последний раз, заставляя нас оплакивать ее уход. Но я заплакал по-настоящему. И в конце концов заставил расплакаться и саму Саифу.

* * *

Подобные хлопоты и суету я уже пережил, когда готовилась свадьба Марифы, и меня мало теперь занимали котлы для плова, сладости для гостей. Даже друзья, которых я пригласил на свадьбу, не могли отвлечь моего внимания от главного. Я ждал появления жениха, мне хотелось знать, в чьи руки мы отдаем сестру Саифу.

И вот когда наконец жених вступил во двор, я бесцеремонно растолкал всех гостей и родственников и прибли-

зился к нему вплотную. Маленького росточка, невзрачный, рядом с Саифой он выглядел, конечно, убого. Но вот лицо его мне понравилось. И не столько лицо, сколько глаза — большие, теплые, излучающие ласковый свет.

Я с облегчением вздохнул. Нет, человек с такими глазами не сможет причинить зла нашей озорнице Саифе. И я уже без горечи и душевной боли собирал Саифу в дом жениха. Даже когда подружки ее запели грустную свадебную песню, причитая и всхлипывая, я подумал: «Не такой песней надо провожать огневую, страстную, неугомонную Саифу». Я почему-то поверил, что сестра будет счастлива.

ПРОЩАЙ, ДЕТСТВО!

Я проснулся чуть свет — словно кто-то окликнул меня за окном. Сестры еще спали, а мама уже хлопотала в кухне.

Отчего я проснулся? Не знаю, но на душе было как-то беспокойно. Словно я чего-то ждал. Чего-то хорошего, большого.

В комнату вошла мама, увидела, что я лежу с открытыми глазами, присела рядом, погладила меня по голове.

— Вот так, незаметно, и уйдете все от меня, — сказала она со странной улыбкой. — Саифа нашла свою судьбу, а я вот не знаю — радоваться или плакать.

— Но я-то тебя никогда не оставлю, — заверил я маму. — Я буду тебя защищать.

Мама нагнулась, нежно поцеловала меня в голову и прошептала:

— Надежда моя, опора!

Я почувствовал, как радость заполнила все мое существо. Наконец-то и в наш дом пришли счастливые дни. Мама улыбается, она довольна, что у нее все, как положено, как у добрых людей.

Две главные заботы сняла она с плеч — устроила жизнь своим старшим дочкам. А мы?! Мы уже тоже выросли, не доставляем столько хлопот. Я скоро стану настоящим мужчиной, помощником. С такими мыслями я вскочил с постели, поспешно оделся и помчался на улицу — надо было с кем-то поделиться тем, что я испытывал.

Не с ребятами, нет. А с деревьями, горами, что вдали, орлами, высоко летающими в небе. Как жаль, что у меня

нет собаки, думал я. Мой верный пес был бы всегда со мной — и в горе, и в радости. А сейчас у меня радость, радость, которую я не могу объяснить. Я только могу громко и беззаботно кричать и носиться по улице, воображая, что за мной бежит мой верный друг — пес.

Когда-нибудь я пойму свою беспричинную радость — но это уже будет в моей поздней, взрослой жизни. Я был радостен и счастлив потому, что детство и должно быть радостным и счастливым. Все страдания и испытания были в прошлом, и жажда радости брала свое.

Скоро, очень скоро я распрощаюсь с детством, с порой «ранней весны». А пока — неумная радость заполняет мое сердце!